

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ
И КУЛЬТУРЫ

ДЛ

6-ой год издания.

6-ой год издания.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на ежемесячный журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и
В. В. Сухомлина.

В каждом номере « ВОЛИ РОССИИ »: Рассказы, повести, стихотворения. Переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы. Статьи по вопросам русской и иностранной политики. Систематические обзоры жизни Советской России. Проблемы современной культуры. Жизнь славянства. Статьи иностранных авторов по вопросам международной политики. Литературные отклики. Обзоры новых книг и журналов. Библиография.

За 1926 год в журнале были помещены произведения следующих русских авторов: Аноним (Россия), Б. Аратов, В. Архангельский, К. Бальмонт (Париж), Н. Безпалов, П. Булатов, Д. Вяткин (Россия), С. Верещак, Н. Воронович (Варшава), Е. Зноско - Боровский (Париж), проф. А. Герш (Женева), Д. Ивицкая (Россия), З. Кочеткова (Брюссель), А. Коршунов (София), П. Климушкин, К. Кочаровский, И. Калинин, А. Лазарев, Л. Леонов (Россия), Вл. Лебедев, проф. И. И. Лапшин, Б. де Люнель (Россия), Д. Лутохин, Н. Мельникова - Папоушек, П. Милославский, Е. Недзельский, И. Нечитайлов (Загреб), С. Новиков (Белград). Невидимцев, Б. Нерадов (Россия), П. Орлушин, С. Постников, А. Пешехонов, А. Ремизов (Париж), Ф. Репейников, С. Раппопорт (Лондон), Н. Русанов (Ницца), Л. Россель, Н. Рубакин (Лозанна), М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин, В. Тукалевский, Г. Фальчиков, Г. Шрейдер, М. Цветаева, А. Цаликов, В. Чернов, Ю. Данилов (Париж), проф. Ульянов (Лозанна).

Кроме того, были помещены следующие специально для «Воли России» написанные статьи иностранных авторов: Рудольф Брейтшейд (Германия), Ван-Чу-Фу (Китай), Шарль Вильдрак (Франция), Тадеуш Голувко (Польша), Гануш Елинек (Чехословакия), Бласко Ибаньес (Испания), Рихард Линстром (Швеция), Альсинг Андерсен (Дания), Рамзей Макдональд (Англия), Александр Олар (Франция), Сант Яго (Испания), Коста Тодоров (Болгария), Альбер Тота (Швейцария), Свентаржицкий (Финляндия), Генрих Штребель (Германия), Джованни Зиборди (Италия), А. Хондокарян (Армения), С. Янниос (Греция) и др.

Произведения следующих иностранных авторов были помещены в переводе с их согласия или согласия издателей: Г. Апполинер (Франция), В. Вавчура (Чехословакия), Э. Бенеш (Чехословакия), Ю. Волькер (Чехословакия), О. Бржезина (Чехословакия), Т. Масарик (Чехословакия), М. Пруст (Франция), Я. Папоушек (Чехословакия), М. Эбергард (Франция).

Цена настоящего номера: Во всех странах Европы — 50 цент.
В Америке, Китае и Японии — 80 центов.

В О Л Я Р О С С И И

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛИНА

6-ой ГОД ИЗДАНИЯ

III

ПРАГА

ПРАГА, UHELNÝ TRH čís 1

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Замятин. Мы (роман)	3
Вадим Андреев. Террористы (поэма)	33
Марк Слоним. Американские впечатления	42
С. Рафальский. Стихи на тему	64
Иван Марков. Как произошла революция (воспоминания рабочего)	67
Е. Сталинский. Десять лет (февральская революция)	110
В. Сухомлин. Политические заметки	123
Ф. Гец. Конец пролетарской поэзии в Чехии	139
Пятилетие «Воли России	150
Иностранная жизнь:	
Сие-Тон-Фа. Китай и Англия	154
Социализм и рабочее движение:	
Социалистический Интернационал об опасностях войны	164
Китайская проблема	167
Среди книг и журналов:	
С. И. Раппопорт. Четвертый Интернационал (о книге Уэлса)	173
М. Сл. Обзор русских журналов («Звезда» и «Версты»)	178
Н. Мельникова Папоушкова. Третья фабрика	187
Отзывы о книгах	189

МЫ *)

Запись 15-ая.

Конспект.

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ.

Только вошел в элинг, где строится «Интеграл» — как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:

— Вы, вот, болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, происшествие

— Происшествие?

— Ну да. Звонок, кончили, стали с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил нумерованного человека. Уж как он пробрался, понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем...

Улыбка — вкусная...

В Операционном — работают наши лучшие и опытейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак, воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну, и

*) Продолжение. См. В. Р. кн. 2.

так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат — с применением различных газов, и затем, — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель: забота о безопасности Единого Государства, другими словами — о счастье миллионов. Около 5 столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционный с древней инквизицией, но ведь это так же нелепо, как ставить на одну доску хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же — режут горло живому человеку. И все-таки один Благодетель — другой — преступник.

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, — а ее, 1 нет: исчезла, нету. Этого машина никак не могла проверить. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к плечу, I-рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман»? Да, и туман... все люблю, и все упругое — но все, все — хорошо...

— Все — хорошо, — вслух сказал я.

— Хорошо — кругло вытаращились фаянсовые глаза. То есть что же тут хорошего? Если этот нenumerованный умудрился... стало быть, — они всюду, кругом, все время они тут, они — около **Интеграла, они...**

— Да кто они?

— А почему я знаю, кто? Но я их чувствую, — понимаете? Все время.

А вы слышали: будто какую-то операцию изобрели — фантазию вырезают? (на днях, в самом деле, я что-то в роде этого слышал).

— Не знаю. При чем же это тут?

— А при том, что я бы на вашем месте — отправился бы и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явно обозначилось нечто лимонно-кислое, Милый — ему показался обидным самый отдаленный на-

мек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же : неделю назад — вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь — теперь нет : потому что я знаю, что это у меня есть, что я болен. Я знаю еще: это удивительная болезнь — не хочется выздороветь. Вот не хочется — и все.

Из записи 18.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа — осколок солнца. Я—в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это—несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего — I , мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их. Но в том-то и ужас, что они — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть : потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колющие тени — иррациональные формулы ; а математика и смерть — никогда не ошибаются и не шутят. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же — значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа). И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь.

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те-

за Зеленой Стеной — и они также были полны необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу его : бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом — жалом : — I... А может быть, это — не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалающая себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая — только прикрыто дневным светом, как видимые предметы, не умирая — к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман длинные, стеклянные столы, медленно, молча, в такт жующие шаро-головы. Издалека, сквозь туман постукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти : пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок: и, машинально, отбивая такт, спускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих—как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки стеной, и за этой стеной мой мир...

Но вот что : если этот мир только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные корридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический роман. Ах, если бы и в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, наполненная 1 и падением, жизнь.

Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, — дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством, следовательно, достигли высочайших, возможных для человека, вершин). И как дети только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам даю, когда это будет тщательно обложено густым приключеньевым сиропом.

Запись 19-я.

Конспект.

**БЕЗКОНЕЧНО МАЛАЯ. ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА.
ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ.**

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет не там : позже, когда уже мы были с нею в каком-то затерянном уголку на дворе Древнего Дома она сказала «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все на крыльях, день, — летит, и наш «Интеграл» уже крылатый: кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его в холостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня каждый из них салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе — выстреле, под дулом двигателя, оказался с десятков зазевавшихся номеров из нашего эллингa — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажки. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не нарушился от этого ни на секунду, никто не вздрогнул ; и мы и наши станки продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с тою же сверкающей, отполированной точностью, как будто бы ничего не случилось. Да и что, в самом деле, случилось. Десять номеров это едва - ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах бесконечно малая третьего порядка. Арифметически — безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел : как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я почти один в доме. Сквозь просолнечные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерченной солнечной тушью лестнице медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги—и я вижу сквозь дверь

— я чувствую: ко мне прилеплена пластырь улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез и... какой-то незнакомый мне мужской (с согласною буквою) номер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо (—исподлобья, из под навеса). Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса кругом. Да никого, никого нет; ну, скорей же... Сунул письмо—и больше ни слова, ушел.

Из конверта выпорхнул розовый талон—ее, ее талон, и чуть приметный ее запах. Догнать скорей этого чудесного исподлобного и...

Из конверта вслед за розовым талоном крошечная записка, три строчки... «Талон... непременно спустите шторы, как будто и в самом деле у вас... Мне это необходимо, чтобы думали, что я... Мне очень, очень, очень жаль...»

Записку в клочья. В зеркале на секунду мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон — так же, как и записку —

— «Просила, чтоб непременно все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон—на столе. Она—сильнее меня, она сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем не знаю: увидим — до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства: пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Степи— и потом свалиться в кровать— на дно... А я должен— в 13-ую аудиторию, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топтать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающей трубы — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она та-

кою, какою когда-то жила : маленькая — крючечек — старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом — и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком всю аудиторию. Мягкие мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только, что-то — о детях, о детоводстве. Я, как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на конусе рупора; под рупором ребенок — живая иллюстрация — тянется к серпу засунуть в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачек — большой — (вернее — очень маленький) палец зажат внутри — легкая, пухлая тень — складочка на запястье.

Как фотографическая пластинка — я печатаю: вот теперь голая нога перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев блюдечки — глаза. Это О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы — вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся: она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекция каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой — по зеленой сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелка во мне — сейчас перешагнет через какую-то цифру, я сделаю что-то. А сам думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю кто. До самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы.

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил : нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее, висела : так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто - уж не было ни одной пружины, безпружинными были руки, ноги, безпружинный, висячий голос.

— Я — о своем письме. Вы получили его ? Да ? Мне нужно знать ваш ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев, глаза — медлил с ответом. И с наслаждением, втыкая в нее по одному слову :

— Ответ ? Что же . . . Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так значит . . . (— улыбкою прикрытая мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо. Я сейчас — я сейчас уйду.

И висели над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон той. Я быстро развернул эту свою рукопись — «мы» — ее страницами прикрыл талон — быть может, больше от самого себя, чем от О.

— Вот — все пишу. Уже 73 страницы. Выходит такое что-то неожиданное . . .

Голос — тень голоса :

— А помните . . . я вам тогда на седьмой странице . . . я вам тогда капнула — и вы . . .

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз. И вдруг как капли — вниз, торопливые, через край — слова :

— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка и я уйду, я уйду.

Я видел она вся дрожала под юнифой, и чувствовал : я тоже сейчас — Я заложил назад руки, улыбнулся :

— Что ? Захотелось Машины Благодетеля ?

И на меня — все так же, ручьем, через все плотины— слова: и хоть несколько дней.. Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там, — как на столе. Одинь день.

Три точки : она, я — и там, на столе, кулачек с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумулярующую башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки люди, и сладко тикнуло сердце: «А что если...?» Тогда я только еще крепче схватился за перила ; теперь ; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите ? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да. Хочу.

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — той — вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это... это ее талон ?

— Не все ли равно. Ну — ее. Да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась и это пружины постели. Сидела, руки в коленях, молчала :

— Ну ? Скорее... — я грубо стиснул ей руку и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястьи, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут... тьма, искра — я через парапет вниз...

1-330 снова посылает Д-503 свой талон и не приходит. Он ищет ее в Древнем Доме. Ее нет. За ним постоянно следует «ангел-хранитель». В городе — какие то слухи: что то будет в День Единогласия.

Запись 22-я.

Конспект.

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я — МИКРОБ.

Вы представьте себе, что стоите на берегу : волны — мерно вверх, вниз, вверх : и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная скрижалью прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, т. е. так, как изображены воины на ассирийских памятниках : тысяча голов — и две слитых интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулирующая башня — навстречу нам четырехугольник : по бокам, впереди, сзади — стража ; в середине трое, и на юнифах этих людей — уже нет золотых государственных номеров — и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путанный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира; и этот

неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по щенячьи взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 3 секунды — и взвизг, щелки — и взвизг.

Мы попрежнему, мерно, ассирийски шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упругая, гибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не смей» — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было как метеор 119 лет назад: вся прогулка застыла и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была номером — она была только человеком, она существовала только, как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачиваясь изогнулась в бедрах налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его — в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — встречу ей. Сейчас — в пока еще ясной зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся — сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не разсуждая: можно? нельзя? нелепо? — я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась — —

Передо мною дрожащее — веснушчатое лицо, рыжие брови... Не она. Не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то в роде: «Так ее. Держи ее» — но слышу только свой шо-

пот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих старницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, сучек: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаро-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовым ушами-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова, И знакомый, сплюснутый голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что номер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

— Да, да — ухватился я. Я даже кричал: держи ее. Сзади за плечами.

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел, клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня — и я снова свободен, т. е. вопрос снова заключен в стройные, безконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо, и висок с географической картой голубых жилок — скрывались за углом, навеки. Мы идем — одно миллионноголоное тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: им было известно величие церкви — «стадо единого», и они знали, что

смирение — добродетель, а гордыня порок, и что «Мы» — от Бога, а «я» от диавола.

Вот я — я сейчас в ногу со всеми — и все таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений — как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нету. Разве не ясно, что личное сознание только болезнь?

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых); я, быть может — микроб, и она, I — тоже чудесный, дьявольский микроб, и может быть, их — уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что если все сегодняшнее — это, в сущности, мало-важное происшествие — что если это только начало, это — только первый метеорит из целого ряда грохочущих и горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-я.

Конспект.

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО (?)

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, которые расцветают раз в тысячу — в двести тысяч лет. Может быть об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз в тысячу —

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро, у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, закапанный чернилами, столик дежурного, над столиком — нежно — коричневые, с

крапинками щеки Ю. Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у нее — сквозь стекла стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна, понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на номер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно — целомудренное движение: поправляет складку юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите — и вам этого никто не скажет, — никто.

Это «никто» — конечно, равняется номеру на талоне — 1-330 — что утверждено чернильной кляксой, падающей рядом с цифрами 1-330. Милая, чудесная Ю. — Вы, конечно, правы: я — неблагоприятен — я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка. И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверху, у себя в комнате. В широко-раскрытой чашечке кресла — I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс, и так: я — кристалл, и я **растворяюсь** в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают отделяющие меня в пространство шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней — я становлюсь все меньше, и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому, что она — это не она, а вселенная. И вот на секунду я и это, пронизанное радостью кресло, возле кровати — мы одно; и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебрянные на черном развалины, дремлющие как старуха, и где-то невероятно далеко сейчас хлопнувшая дверь — это все во мне вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, путанных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я

чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я замолкаю, мне просто стыдно: я — и вдруг...

— Милая I, прости меня. Я — совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это не хорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками, так же, как ум, может быть из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да... — мне кажется: она права, — как она может сейчас быть неправа?

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходи-ла, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, чего я захочу — что ты уже совсем мой?

— Да, совсем.

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного номера?» А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле — нигде даже и мысли о том, что в сущности, я бы должен.

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки — перебегаю с одного на другой — и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы-губы, сладкая боль цветная...

В каждом из нас, номеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5-ти минут знаем время. Но тогда, метроном во мне остановился, я не знаю, сколько прошло, в испуге хватаю из-под подушки бляху с часами.

Слава Благодетелю: еще двадцать минут. Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей—все, всего себя: о письме от О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка, и почему то о своих детских годах — о математике Шляпе, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе — в этот день — оказалось чернильное пятно.

І подняла голову, оперлась на локоть, по углам губ — две длинные резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть в этот день... и брови еще темнее, взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты такая. О чем ты, І, милая?

І молчала, и глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется это было все время, но услышал я только сейчас, и почему то вспомнились пронзительно кричащие птицы у Зеленой Стены.

І встряхнула головой, сбросила с себя что то. Еще раз на секунду коснулась меня вся—так аэро пружинно, на секунду, касается земли перед тем как сесть.

— Ну, давай мои чулки. Скорее.

Чулки брошены у меня на столе, на раскрытой (93) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались.

— Я не могу так, — сказал я — Ты вот здесь рядом и будто все таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стену шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что то не договариваешь, ты даже ни разу не сказала мне куда я тогда попал в Древнем Доме — и какие коридоры и почему доктор — или может быть ничего этого не было?

І положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу, должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя не повела?

— Да, всюду.

— Хорошо. Когда кончатся праздники, если только... Да, а как ваш «ИНТЕГРАЛ» все забываю спросить, — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять. Что «если только»...

Она (уже у двери):

— Сам увидишь ..

И я один. Все, что от нее осталось — это чуть слышный запах, похожий на сладкую сухую, желтую пыль каких то цветов из-за Стены. И еще — прочно засевшие во мне крючечки вопросов —?— вроде тех, каким пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический музей).

— Почему она вдруг об «Интеграле»?

Запись 24-ая

Конспект.

ВЕЧЕРОМ.

Сквозь стеклянные стены дома — зетренный, лихорадочно - розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелисываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею — для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках внизу.

Вот—о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарь — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не видит — честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарь и следил по нем, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только-что из мастерской, юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. Я коридоре шаги, радостные возгласы, шум).

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по новому волнующее зрелище: могучую чашу согласно, благоговейно поднятых рук. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, в слепую — что может быть бессмысленней. И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный униссон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически - мрачное зрелище: ночь; площадь; крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах, прыгающее от ветра багровое пламя факелов..) Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «Мы». Насколько это облагораживаю-

щей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразнее. Ведь если даже предположить невозможное, т. е. какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них. И наконец, еще одно.

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно — все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно» и не хочу об этом, не могу. Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кошунство, но это так): праздник только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее — завтрашнее солнце будет только кружочком на месте, и небо — выкрашенная синяя жесь, и сам я...

Я хватаюсь за телефонную трубку.

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно?

— Может быть, еще не поздно? Я хочу вас спросить... Я хочу, чтобы вы завтра были со мною. Милая...

«Милая» — я говорю совсем тихо. И почему то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положил под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно - нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится — я слышу там — в комнате I — чей-то шопот. Потом ее голос.

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама. . Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

Ночь.

Запись 25-ая.

Конспект.

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ-КОНЧИЛОСЬ.

Когда, перед началом, все встали и торжественным медным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов — на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, который некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного, пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных, несмываемых пятнах, но ведь я то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть — но одну секундочку почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо...

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес снисходит к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще - жестокий, как Иегова древних. Вот ближе — и все выше, навстречу ему миллион сердец — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами — сияние блях, и в центре — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес — медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно — все тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот — ответный сигнал пальцев. И еще... Я понял: они Хранители. Я понял: они чем то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне — как настроенным на ту же длину приемника — радио-ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гексаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочнее перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все не то, единственное, какое я ищу, и надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом — —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья — уши, темной, двояко-изогнутой петлей отправилось бегущее тело — куда-то в запутанные проходы между трибун.

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронизало, скрутило в узел. В нашем ряду, всего градусах в 10 от меня, остановился нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней — отвратительно-негрогрубый, ухмыляющийся Р — 16.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему с Ним? Почему не хотела, чтобы Я»? Но невидимая, благотельная паутина крепко опутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: эта острая — **физическая** боль в сердце. Я, помню, думал: «Если от **нефизических** причин — может физическая боль, то ясно, что — —».

Вывода я, к сожалению не достроил: вспоминается только, мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка «душа в пятки» (?). И я замер: гексаметр смолк. Сейчас начнется... Что.

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Не сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было, как у древних, когда еще не знали наших аккумулирующих ба-

шень, когда не прирученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было, как у древних, перед грозой.

Воздух из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает где-то сзади мышино-грызущий, тревожный шопот. Неподнятыми глазами я вижу все время вижу тех двух: I и Р — рядом, плечом к плечу и вот у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные — мои — лохматые руки...

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут. С эстрады — чугунный, медленный голос:

— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше — прямо и преданно: «Вот я. Весь. Возьми меня. Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный—«Ах». И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал-что, и не было силы — я не смел — посмотреть...

Кто — «против»?

Это всегда — самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох — он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так — последний — раз — в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех холодные капли на лбу...

Я поднял глаза — и...

Это—сотая доля секунды, волосок: Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвевянных бегом юниф, растерянные мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами — и возле каблу-

ков чей-то широко-раскрытый, надрывающийся от неслыханного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на экране чудовищного кино.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы О: прижатая к стенке в проходе, она стояла загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому, что...

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье вдруг выскочил Р-16 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом-красно. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отвратительный и ловкий, как горилла — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — мне все стало багровым — и только одно: прыгнуть, догнать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи, на скамьи — и вот уже близко, вот схватил за шиворот Р.

— Не смей. Не смей, говорю. Сейчас же (к счастью моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — Р. обернулся, губы, брызгая тряслись — вероятно думал, что один из Хранителей.

— Что? А вот — не хочу, не позволю. Долой ее с рук — сейчас.

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: все же должен, должен записать, что бы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни — тут я смаху ударил его по глазам. Вы понимаете — ударил. Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите — крикнула она Р. — Вы же видите: он... Уходите.

Р, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А — я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную горячую, такую радостную волну. И пусть там, внизу, мчатся, кричат, падают; пусть что-то рухнуло, что-то разлетелось: вдребезги — все равно. Только бы так вот нести ее, нести, нести...

Вечером 22 часа.

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные, вековые стены Единого Государства. Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля. Против... в День Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем — кто «они»? И кто я сам «они» или «мы» — разве я знаю?

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье, на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь, нет, больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была бы застегнута, — она разорвала бы ее...

— А завтра... — она дышет жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно. Ты понимаешь, какое это счастье? Ты понимаешь, что все известное — кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко, и все дальше: потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так, долго, молча. И почему-то вспоминается, как од-

нажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз?).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенного — поведу тебя туда, — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — растворился, я — бесконечно — малое, я — точка...

В конце-концов — в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке — больше всего неизвестностей: стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, в сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращаюсь? И мне кажется — все так же, как и я, бояться мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забывшись в свои стеклянные клетки и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, смеха, шагов. Иногда вижу: по-двое, оглядываясь, проходят на ципочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращаюсь завтра?

Запись 27-ая.

Конспект.

(НИКАКОГО КОНСПЕКТА-НЕЛЬЗЯ).

Я один, в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — оттуда глухой гул...

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду — прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще — последние пять минут, и если она не выйдет —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее и тусклее...

Вдруг сзади — торопливо брякнула дверь. Быстрый то-

пот, мягко отскакивающий от потолка, от стен — и она: летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь. Я знала: ты-ты... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да: в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно, подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, теперь — пойдем.

Дверь — открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове — как будто взорвали бомбу, раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни-рядом, кучей, одно за другим...

Я помню — первое у меня было: «Скорее — сломя голову назад». Потому что мне ясно: пока я там ждал — в корридорах — Они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась.

— Да нет же. Просто — вы вышли за Зеленую Стену.

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, наяву — то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затуманенное мутным стеклом Стены.

Солнце — это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрерывно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья. Как свечи — в самое небо; как на корявых лапах

присевшие к земле пауки; как новые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из под ног ша-рахається какой-то шершавый клубочек, а я — прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете? не плоскость — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

— Ничего, ничего. Это-только сначала, это пройдет Смелее.

Рядом с I — на зеленой, головокружительно-прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор, — нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Гам, карканье, мох, кочки, клетот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди... или я — не знаю как: может быть правильной — **существа.**

Тут самое трудное. Потому что **это** выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего — I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп, камня — шумела толпа в триста-четыреста... человек, — пусть «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц, вы, в первый момент воспринимаете только знакомые, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, — повидимому люди. Все они были без одежд и покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок — были лица точно такие же — да, да, точно такие же, — как и у наших женщин: нежно - розовые и не заросшие волоса-

ми, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы: у самцов без шерсти была только часть лица — как у наших предков — и органы размножения (совершенно подобные нашим).

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется...

Вдруг — один: I уже со мною нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте-ради Благодетеля — вы не видали — куда она? Это только сейчас — вот сию минуту...

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш. Тише. — и космато кивнула туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная—угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами...

— Братья... это она. Братья. Вы все знаете: там за Стеною в городе — строят «Интеграл». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — и все стены, чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят нам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «Интеграл». Долой.

— Нет, братья, не долой. Но «Интеграл» должен быть наш. И он будет наш. В тот день, когда он впервые отчалит в небо — на нем будем мы. Потому что с нами Стро-

итель «Интеграла». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди нас.

Да здравствует Строитель...

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя **над всеми**, я — был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса, сверху улыбка I. Какая-то золото-волосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней — чаша, повидимому из дерева. Она отпивает красными губами — и подает мне, и я жадно, закрывши глаза пью, чтоб залить огонь — пью сладкие, колющие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне — легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» — и почему то это так нужно, это — простая, прочная нить, связывающая все. Грубое изображение — может быть, то же на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце-ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его — так-же, как не слыша, чувствую каждое слово I (она говорит сверху с камня) — и чувствую, что все дышит вместе и всем вместе куда-то летят, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос: — Но это же безумие.

И, кажется, я — да, думаю, что это был именно я — вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — зеленая зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно. И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее. Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев

рта вверх, углом; и во мне — уголь, и это — мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу она живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой кости шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень — плетенная (решетчатая). В тени лежат и жуют что-то, похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного, — сует мне в руку и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть?'

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду-или может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я изо всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь... Мне показалось...

— Кто он.

— Вот только сейчас — в толпе...

Угольно - черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне не ясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты же понимаешь — I, ты же понимаешь, что это значит, если он или кто -нибудь из них — здесь?

— Смешной. Разве кому -нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы здесь? Вспомни? вот ты — разве ты когда -нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты — бредишь?

Она улыбается легко, весело — и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет..

Е. Замятин.

(Окончание следует)

ТЕРРОРИСТЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Нам отдано на память
Молчанье этих дней,
Невидимое пламя
Болот, лесов, камней.
Сквозь дым и ропот армий
От декабристов к нам
Под царственные бармы
Единая волна.
Не случай Севастополь,
Не случай Порт - Артур.
Гляди, гляди Европа
Как бьется в трубке ртуть!
Устойчивость расхлябав
И бросив в время лот,
Кибальчич и Желябов
Взошли на эшафот.
Пролетами, сквозь улиц
Вз'ерошенную тьму,
За именем — Засулич
Метались мы в тюрьму.
Сугробы раскаляя
До глаз обожжена
При имени — Каляев
Взметенная страна.

Нам отдано на память
Так много, много черт.
Перовской — пламя,
Перовской — смерть.

I.

Уродливой кистью руки,
Раскинувшись устьем трехпалым,
Смывая и торф, и пески,
И льдины взрывая запалом,
Как вздыбивший конь трепетала
И жалась в граниты Нева.
Нагие, как ночь, острова
Смывали у самого моря
Отрепья зимы и снегов.
Прозрачный мороз переспорив,
Стучала капель. От садов,
От парков, берез, бересклета
Налет голубой пестроты.
Как руки сгибаю мосты
В тяжелых огнях, как в браслетах,
Над льдинами цвета свинца
Не спит пробудившийся город.
О запахи смол и торца,
О небо с его пустотою!
Как прежде и этой весною
Столица менялась с лица.

II.

За ставню, в окно, не заглянет столица.
Спирается в лаборатории игла.
И если еще ощутимы их лица,
То не ощутимы пустые тела.
Гляди: подбородок и бритые скулы.
Вот волосы свитые медным венцом,
Вот каменный рот, — этот голос не гулок, —
Вот чья то щека, вот рябое лицо

Вот впадины глаз и как будто ресницы,
Вот строгой морщиной рассеченный лоб,
И время глядит, и пустые глазницы
Уже узнают этот мертвый озноб.
Их много, но каждый заранее отмечен,
На каждом родимые пятна — тавро,
По каждому, верно, тоскует до встречи
Казенный, дешевый, некрашенный гроб.
— «Так завтра, в двенадцать. На Марсовом поле
Метальщикам быть»

До поры еще спит
Насупясь, в углу, охраняя подполье
Тяжелый и серый, в тоске, динамит.

III.

Лаборатория. Полночь.
Стянутые голоса.

— «Знаю, я знаю, но полно,
Стоит ли? Я ведь и сам
Тоже такой»

Застывают
Наглухо крытые окна.
Пахнет тревогою локон.
Свечи дыма нагорают.

— «Давеча, памятный срок,
Ты мне сказала, что ждешь
Сына».

Все ниже висок,
Тише упрямая дрож
Стянутых черным плечей.

— «Он, как и я, и ничей,
И — и для всех.»

Неприступна
Захолодь милого лба,
И, как любовь, неотступна
Стражница жизни — судьба.
Тени на темных обоях.
Ставней играет весна.
Кто их принудил, о кто их — —
.....

IV.

Люблю тебя, Петра творенье!
Простор бессмертных площадей!
О каменное вдохновенье
Осуществленных чертежей.
Ты выплыл в море островами,
Поработив язык стихий,
Ты пьешь гранитными боками
Болот дичающие мхи.
И в Петропавловской твердыне
Остерегая тишину,
Часов упорный голос стынет
И в полдень пленных гнет ко сну.
Нева течению послушна,
День будто замер и застыл.
Слов не хватает. Душно, душно!
О Пушкин, Пушкин, где же ты?

Парад щетинится штыками,
На поле Марсовом каре,
Знамен двуглавыми орлами
Настороженный воздух рей.

Вот ближе, ближе, воздух гулок —
Вдруг тяжко вздрогнули мосты.
Метальщица, не ты ль метнула
Громадный вздох, к нам, с высоты?

V.

Седой покой, о выгнутые скрепы,
Оплывший сон.
Хранит тебя самодержавный слепок
Камней, времен.

Хранит тебя. Почти с решоткой вровень
Течет Нева.
Не здесь ли, стиснув — в камень — брови,
Забыть слова?

Не здесь ли Таракановой на память
Сквозь дым и дни
Пришел Орлов? И пенными устами
Гася огни,

Нева рвалась, кипела и томила
Как ночь — до дна!
Она в осевших корридорах билась
Раз'ярена.

О согнутые новой ночью спины
Камней, времен.
О Алексеевского равелина
Сей душный сон!

VI.

Шаги часового, как пятна
На бархате той тишины,
Что видится ей. И невнятные,
Как бархат, линючие сны.
Должно быть он не был, он не был
Приснившийся мир — на яву.
Ей кажется — пламя и небо
Похожим скорее на звук.
Ей кажется, что на взметенном
Снаряде погасли лучи,

Как будто во мгле опаленной
Не солнце, а отблеск свечи.
Как будто ломает тревогу
Лицо ожигающий вздох, —
Последняя судорога — отгул
Ушедший в громадное — «ох».

Распластана воспоминаньем,
Как воду, глотнув тишину
Отходит она на свиданье
К линючему, душному сну.

VI.

За много дней до дня рожденья,
Любовью полночь ослепив,
Над нерожденным это пенье:
Сын — спи,
Сын — спи.

О этот голос колыбельный
Над колыбельной пустотой.
Мрак неот'емлем — крест нательный
Над грудью, сном и тишиной.
Он жив уже в ее дыханьи,
Он вместе с нею хочет пить,
Как воду пить воспоминанье.
Сын — спи,
Сын — спи.

В душе — душа. Двойною тенью
На серый камень, чуть дыша
Легла на перебор сомненью
Непостижимая душа.
И отражаясь, замирая,
Любовью камень ослепив,
Душа поет и голос тает:
Сын — спи,
Сын — спи.

УШ.

Туго, туго, узел туже,
Узел рук.

Для меня, отца и мужа
И секунд и капель стук.
День допросом выпит не до дна ли?
Помню темные зрачки:

— «В прошлый раз не отвечали».

Тише, дрожь руки.

— «Что ж, как прежде? Я не вырвал, верьте,
Вам еще язык»

Тише жизни, тише смерти
Этот миг.

— «Ваша воля, только знайте
Будут казнены
Мать и сын. За сим — прощайте».

Вздох. Обломки тишины.

— «Против правил? Все равно нам».

— «Нет, ни слова. Что ж, коль так.»

И ушел с поклоном
В прежний мрак.

Туго, туго, узел туже,
Узел строк.
Ниже, ниже неуклюжий
Потолок.

1X.

Две грани, два мира
И третьяго нет.
Две грани, два мира
И третьяго свет.
За сыном, за сыном,
О нежность, о боль,
За сыном, за сыном
Сквозь ветер неволь.
Легчайшая память —
Степное крыло,
Взметенное пламя
Закатом слегло.
Еще не рожденным —
Уже на пути,
Ему не рожденным —
Уйти.

X.

Нева и небо. Острова.
Еще прохладная трава.
На диво черченный простор,
Лучей и тьмы привычный спор.

Неощутимы облака.
Слышней протяжный хруст песка.
Но мертвый дремлет, дремлет порт,
В два цвета выжженный офорт.

Перекладина качается,
Перекладине не верь.
В мире это называется
Смерть.

Разлука будет коротка.
В последний раз к руке рука.

Последний раз в прозрачной мгле
Прикосновение к земле.

Помост скрипит. За шагом — шаг.
Насторожился мир, как враг.
Еще, еще, к руке рука.
Разлука будет коротка.

Перекладина качается,
Перекладине не верь.
В мире это называется
Бес — смер — —

Вадим Андреев.

АМЕРИКАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НАЙАГАРА ФОЛЛС

Памяти Лариссы

К Ниагарскому водопаду проехал я из шумного и многолюдного Буфалло, трамваем. Сперва — все было, как полагается: мчатся вперегонку с нашими вагонами автомобили всех цветов и размеров, гудит земля, ухают удары динамо, дымят небеса фабричными трубами, и под железными мостами и виадуками сотнями разбегаются стальные рельсы. За городом — все еще город: летит трамвай сквозь строй домов, на скудных полях исполинские рекламы, за оградами тени фабричных вышек и крылья трансформаторов, а после площадок для тенниса, вновь стены, фабрики, бетон и стекло, камень шоссе и железо машин, тесная одежда земли — и луже у маленького сада радуешься, как озеру.

И потом, вдруг поворот, неожиданный запах влаги — кричит кондуктор: "Найагара Фоллс". Когда выходишь — сразу нет одежды, земля, трава, небо, не городское, а настоящее, не то, что над фабриками, а простое и безкрайное, а между весенних зеленеющих деревьев — светлый блеск вод.

Еще не видишь водопада, вступая в парк, только слышишь треск льдин и могучий, множющийся грохот. Но едва сойдешь вниз, по расчищенным тропинкам и разом — слепительный и непрерывный хаос.

*) См. В. Р. 1926/XI.

Налево — озеро Ири, направо — озеро Онтарио, в этом месте они соединяются. Из озера Ири вытекает река, разбиваемая сотнями порогов и островков. Все ниже и ниже спускаются ее скалистые, неприветные берега, все обрывистее гранитное ложе — и с двух исполинских обрывов свергается она пенными и грохочущими водопадами: их бешеные, искалеченные потоки водоворотом несутся в стремнину реки Ниагары, — все тише и замедленнее их лет, все шире русло, все умиротвореннее ход реки — до озера Онтарио.

С двух обрывов падение, и главных Ниагарских водопадов два. Один у американского берега: стена вод, словно срезанная почти прямоугольным отвесом. В ложе реки — бездна, и с ее грани — крушение вод. Левее, в тумане и сиянии, ближе к канадской стороне — подкова: суженным полукругом, подковой, рушится река.

Не доходя до водопада — островки, мимо которых бежит вода — к гибели. Стоишь у самого потока, видишь совсем близко пучину, провал ее, к которому неотвратимо бегут ручьи. У каждого камня — водоворот, взрывы, взмет пены — либо разбивается волна, либо здесь умирает, на плоских берегах, на источенных порогах, либо, победив минутно — туда, в бешеном беге, к низвержению, после которого впереди в будущем плавный бег стихии к растворению в светлых пространствах Онтарио.

И вся жизнь волны в этом: из зеленеющего озера, из полноводной и безмятежной родины, назначен ей стремительный бег, кипение в узкой теснине скалистого русла, яростный удар о камни, кружение водоворотов, возмущение борьбы, сверкание пены — и последнее неминуемое: вниз водопадом. Волны не хотят низвержения: у каждой извилины островка, у каждой расщелины скал, они задерживаются, ищут спокойной пристани — и упирающуюся толпу их гонит содрогание ближних вод, и незаметно, немолимо уже влекомы к водопаду осужденные струи.

На маленьком Лунном островке — скалы, деревья, трава на берегу — в ста шагах от Ниагары слежу, как медленно и успокоенно течет река — почти запруда. Но обманно это спокойствие, назначена смерть и для этих

прозрачно-зеленых струй, гонимых все той же силой, во к той же пропасти. Они не разбились пеной на порогах, они ласково омывают извилистые берега острова, но брошишь лист, вот увлечен он струями, и знаешь его, их судьбу, — и вот они уже на краю обрыва, и сейчас поглотит и сбросит их безостановочный взмах Ниагары. Сотни тысяч лет без усталости неизсякаемо падают воды в этот смертный провал, вечный длится упор волн, их ненужная борьба и неизбежная катастрофа, гибель в пене и падении.

Из Ири, через сотни порогов, уступов и скал, разбиваясь и клубясь, зелено-серой лавиной катится поток: белая пена, желтизна камней и скал, уродливо скрюченные деревья на островках, затерянных в отчаянии среди этого бешеного бега, в этом хаотическом реве, — а серо-зеленые воды, у самого края, точно в упоении, — стремглав — дальше и дальше, обгоняя друг друга, летят к роковой подкове, и с ритмической точностью уничтожения, в облаке пара и пены, в взлетах фонтанов, вниз — стремглав — стеной. А внизу плоские змеевидные скалы, с прожилками льда, валуны, отточенные до блеска, точно зубы чудовища, подставляющего разверсто-жадную пасть низвергающимся обвалам. И игра радуги на летящих волнах, а надо всем — угрюмое небо холодной Канады. Вдали, в щетине леса и кустарников, низкие лежат берега истоков: там дремлют воды, еще не пробужденные близостью последнего часа, там безмятежное лоно, родина тревоги и безмерности, — а на лиловых холмах коренастые дома, палочки труб, дела человеческих рук — и темной колючей стражей рощи.

У самой подковы, там, где полумесяцем с отвеса разом падают воды, ничего не слышно, все заглушает грохот падения, нет брызг: брызги ничтожное, есть только текущий обвал в вечном повторении. И от обвала оглушительный рев, наполняющий берега и лес, — точно нет ничего в мире, кроме этого грома волн, этой грозы гибели, этого исполинского органа потоков и скал. Стеной вод и шума отделен свет — и вся непостижимая сила вселенной, все нечеловеческое в природе — вечность, неистощимость, мощь и беспощадность, — вот они в грозном видении еже-

минутной катастрофы, в расточительстве и ударах нескончаемых, века бегущих вод. И только зимою они повисают ледяными громадами — застывшим порывом они останавливаются на бегу, вздыбленные уздой мороза. Но под весенним солнцем быстро тает покров сна, сперва медленная капель, потом легкое скольжение первых ручейков в ледяной коре, трещины, воскресение влаги из твердыни ледяного гроба, все шире, все победнее — и вот уже снова, с грозным грохотом, неудержимо мчатся льдины, воды, потоки.

По камням и островкам можно пробраться к скалам в самой стремнине, за 10 метров от водопада. Он так близок, что его не видно. Есть только ощущение пропасти и еще одно — сумасшедшее желание — тянет вместе с волнами, вместе с потоком туда, в восхищение последнего срыва.

Найагара — по индейски громовержец вод — зовет как божество. У этих скал, в давние времена, когда не было городов и белых людей, индейцы, чтобы умиливать Бога, снаряжали узкую пирогу, наполненную плодами и цветами — дарами земли стихиям зыбкой влаги — и лучший дар, прекраснейшую девушку племени, — посвящали стремительному Богу. В белом одеянии была девушка. По данному знаку сталкивали лодку в поток, неудержимо летела пирога, и в облаке пены и страсти низвергались плоды, цветы и нежное тело — вниз, в разверстую пасть громовержца. Отсюда, по преданию, и свою пирогу направил неутешный отец обреченной девушки из племени Сенека, и на грани бездны, когда взлетели лодки, чтоб упасть в смерть, встретились в ласке и отчаянии взоры отца и жертвы, — а на низких берегах плясали Сенеки, Гуроны и Ирокезы вокруг жертвенных костров. Рев водопада заглушал радостные их крики, и шумели рощи вокруг, темным лесом была покрыта нетронутая земля.

А сейчас, на большом острове, лес вырублен, разливованные дорожки, цемент, бетонные ограды, точно тюремные решетки. Сейчас, спускаясь с огромных мостов, по шоссе бегут непрерывно автомобили, между редких деревьев сквозят стены ресторанов, канцелярий, учрежде-

ний, охраняющих красоты водопадов, а на дубе, чудом уцелевшем от времен Гуронов и жертвоприношений, автоматический телефон для вызова полиции, скорой помощи и таксикэбов. И повсюду перекладины, проволоки, надписи об опасности и уверения в обеспеченности драгоценных людских тел, указания дороги, перила, заграждения человеческая выдумка и людская суета. У края острова там, где всего страшнее бешенство реки, пред последней чертою, в кустах увидел я разноцветного фазана и курочку, и бедная наседка, что-то клевавшая в двух шагах от этой тысячелетия повторяющейся катастрофы, показалась мне такой же жалкой, какой Богу Найагаре должны казаться все эти люди и автомобили, телефоны и канцелярии на пороге его царства разрушения.

И что толку от глянцевитого шоссе и автоматов с шеколадом и духами — вновь и вновь набегают, кружатся волнуются и низвергаются волны; за тысячу лет, когда сгнут перила и проржавленным прахом рассыплются железные оковы мостов, на два вершка отступит подкова, на два вершка отточат гранит удары Найагары.

Я перегнулся через перила. Ледяной ветер — дыхание потока — ударил в лицо. Внизу, на мокрых камнях, целующаяся парочка, и что им разрушение и тысячелетия — фазану и курочке, — под мерный гул стихии, в непрестанном ужасе гибели торжествует бездумная любовь.

Солнце закатывалось, уже зловещее и темнее становилась Ири, родина обреченных вод, но еще светлела легкой дымкой подернутая полоса Онтарио, эта надежда на мир и воскресение. Из сумерек стоном, грохотом и возмущением неслись к обрыву струи, потоки и льдины, чтобы после низвержения, после порогов и адского бега по острым камням упокоиться в недвижимости озера.

Еще раз, на миг, перед уходом, я постоял на мостике, над самой рушившейся в бездну водяной лавиной. Прощай, Найагара Фоллс. Я не увижу более игры солнца на твоих волнах, ни этих сумерек над островами, ни этого синееющего льда, гонимого в жерло реки, в стремительный проток.

И пройдет весна и лето, пройдут весны и годы, и все тот же немолчный шум будет оглушать эти берега, как века передо мною и тысячелетия после меня, мерно и верно будут падать нескончаемые реки с подковы скал, и неизсякаемые струи будут по прежнему обращать свой обновленный бег в безмолвное и миротворное лоно.

АМЕРИКАНСКАЯ СТОЛИЦА

Быть может, потому так полюбил я Вашингтон, что увидал его весною: зацветали деревья в его парках, зелеными аллеями казались усаженные липами улицы, а у здания военного и морского министерства, рядом с позеленевшей бронзой столетних мортир, распускался куст роз. Или потому, что приехал я сюда после Нью-Йорка и Филадельфии, после десятка тесных, шумных городов Америки — и вдруг увидал ширь площадей, настоящую траву на бесчисленных скверах, живых птиц в ветвях, мрамор статуй и колоннады величественных зданий.

Вашингтон нравится уже по одному тому, что он **другой**. Он не входит в серию одинаковых американских городов. Все они единого типа. А он единственный.

В Нью-Йорке или Чикаго все — ввысь и вниз: земли не хватает — под землю; земля прорыта — в небеса. Одна забота: полезность. Один принцип: максимализм — веса, объема, вышины. Об эстетике думать некогда. Красота — неосторожная случайность. История поглощена современностью: остатки старинных зданий спешно увозят грузовики в мусорные ямы за городом. Прошрое — клыча: где ей поспеть за фордовским автомобилем. Безудержная спешка, царство бега и шума, — вся жизнь неслетя, как поезда, пролетающие с железным лязгом на мостах воздушной дороги — и к багрово-серому небу городов вздымается многоголосый рев борьбы и движения. В узких улицах толпы — грохочущим водопадом — страшное видение суеты, усилий и преодолений. И это — Америка.

И вдруг — Вашингтон. Вместо грохочущаго водопа-

да — мощное течение широкой реки. Вместо отдачи и растраты — работа ума, вместо напряженности страстей — напряжение сосредоточенности.

В 1800 году сюда перенес свою столицу первый Президент едва только зародившегося соединенного государства. В войне оно добилося независимости, столетние преследования укрепили его любовь к свободе — и первые годы его жизни были осены ослепительным заревом французской революции. Ее предтечи дрались за американскую самостоятельность в войсках генерала Вашингтона и Маркиза Лафайета. И ее сыны начертали план американской столицы. В 1791 году начал осуществлять его Ланфан.

Быть может, оттого, что французские архитекторы эпохи революции задумали город Вашингтона, в нем такая ширь и свобода, такое величие и стройная мера. Его называют городом великолепных перспектив и, порою, на берегах Потомака, я вспоминал берега Сены и сады Ленотра: то незабываемое, единственное видение, которое в Париже охватываешь взором от Лувра через Тюильри и Елисейские поля, до площади Звезды, до Триумфальной Арки.

Конечно, и Вашингтон — Америка: вместо названий улиц — буквы и номера — на углу М и О, между 16-ой и 17-ой, геометрия в расположении, радиусы и эллипсисы, прямые углы и правильные квадраты, все исчислено и размерено, все по строгому плану, дома и жизнь, часы и правительство. Геометрия и математика — но мрамор зданий сквозит меж деревьев, в парках и скверах резвятся дети, попирая травы и правила; обелиски и колоннады завершают даль прямых проспектов, бронзовые кони застывшим скоком темнеют в садах, арки, купола и башни осеняют берега реки, статуи и фрески украшают дома и портики, — и над расчетливым циркулем торжествует радостная неожиданность творческой игры.

Да, это Америка — громады размеров, гордость сооружений: на кварталы тянется необъятный Капитолий, вместилище сенаторов и депутатов; в здании государственного департамента — сужаясь кверху, с этажа в этаж, идет его система колонн, лестниц и балконов —

пятьсот комнат; шесть миллионов книг в знаменитой библиотеке Конгресса — первой в мире, — вот опять оно, мировое первенство, подавляющие массы, устрашающие цифры. Но то, что в остальной Америке кричит и выпирает, ошеломляя числами и этажами, здесь не давит и не глушит: легко тут американское богатство, благолепна мощь и неким державным благородством дышат строгие линии столичных зданий.

Величественный Вашингтон заботится о том, что презрено в деловой Америке: об эстетике. Это единственный город выдержанного стиля. Правда, есть в этом стиле какая-то чужеземность, искусственность: не даром по римскому образцу построен Капитолий, памятник Линкольну — дорический храм, и древне-греческие портики ведут в мраморное казначейство. Он все заимствовал со стороны, этот самый европейский из американских городов — и только циклопические камни его строений, только пышный размах его перспектив, опять напоминает о великолепии молодой Америки.

В Америке все на показ, чтобы раздавить зрителя страшным видением мощи и миллионов. Вашингтон скромнее. Белый Дом, где живет Президент величайшей после России Республики мира, — двухэтажное здание с балюстрадами и колоннами — на подобие хорошего помещичьего дома — фонтаны бьют среди клумб, газонов и портиков, огромные сосны, канадский бук и мохнатые ели осеняют его входы — зелень и мрамор — тишина, мир, обитель труда и мудрости.

Он немного чопорен, этот город американских владык и иностранных послов, холодком сдержанности веет от его домов с зеркальными окнами, он хочет быть аристократом среди бешеных выскочек своей страны. Не хватает ему, правда, своей аристократии: титулы большинства знатных обитателей Вашингтона занесены не в геральдические книги, а в банковские рисконтро, и неизменный герб их — решка долларовой монеты. Но и без гербов и родословных уверена в своей силе спокойно-властная столица, не нужно ей золота и декораций. В

Нью - Йорке американское богатство. В Вашингтоне американское государство.

В нем нет фабрик и заводов, немногочисленны банкирские конторы на его нарядных улицах, где не увидишь бешеных дельцов и жадных торговцев. Его жители — чиновники, политики и дипломаты. В нем господствуют канцелярия, министерство и посольство.

Если пройти днем по его улицам, у всех тротуаров тысячи пустых автомобилей ждут своих владельцев, работающих в правительственных учреждениях или совершающих хождения по мукам и кругам бюрократического чистилища.

Отсюда управляют. Здесь издают законы и подписывают договоры в Большом Зале Белого Дома. Здесь — самой большой типографии мира — сотнями окон глядя на нее в четырехугольный пруд у реки — печатаются синие доллары, паспорта с государственным гербом и марки с портретами Вашингтона, и в Казначействе с его восьмиколонным входом считают те четыре миллиарда долларов, которые составляют бюджет Штатов в 1926 году.

Отсюда из министерств и департаментов посылают распоряжения, правила, увещевания от океана до океана по всей великой американской земле, где могло бы поселиться 700.000.000 чел.. Отсюда исходят электрические волны, зажигающие страсти партий и честолюбие вождей, здесь за власть борются тресты и организации, здесь разрабатывают ходы и гамбиты, которые от севера до юга повторяют миллионы пешек. Здесь центр нации, напряженная административная машина гонит кровь и мысль по всем венам исполинского организма.

Вот она — американская держава, блистающие звезды на небесном фоне, — гордый вьется флаг над всеми почти строениями Вашингтона, — отсюда правят отечеством и завоевывают мир потомки квакеров, еретиков и революционеров.

Может быть, правильно, что столица — не громогласный Нью-Йорк, не скотобойный Чикаго, не заспанная Филадельфия, не ученый Бостон: для законодателей и правителей, для чиновников и иностранных гостей в

строен особый город — вне суеты и шума, без небоскребов и подземки. По крайней мере, это правильно внешне. Понятна мысль тех, кто его строил: для трудной работы управления нужна некая отрешенность. Пусть, точно башня, возвышается столица в тени садов и парков, с ее высоты видна Америка и Европа, земли и государства. За ее стенами буйная кипит жизнь, идет борьба жадности и корысти, низменных интересов и преходящих страстей. А правители, словно мудрецы, вне этого круга порока. Их отрешенность — залог свободы их решений и объективности их мысли. Они отошли от суеты для того, чтобы лучше ее понять и лучше ее направить.

Такова была цель строителей. Уединенность города, отрыв физический, думали они превратить в верховенство духовное. Конечно, сейчас это не так. Взору может представиться Вашингтон особым миром, но тысячами нитей связан он с той самой американской жизнью, над которой хочет властвовать. Управляют сенаторы и министры — подсказывают банкиры и короли трестов. Тих Белый Дом в куцах мирного сада, но где, как не в его торжественных покоях слышнее горячка чикагской биржи и ньюйоркского Вол-Стри-та. Дипломатические рауты даются в фешенебельных отелях и в State Department государственные секретари пишут ноты и заключают соглашения. Из Army and Navy дают приказы солдатам на мексиканскую границу и морякам у берегов Никарагуа. Но не это определяет политику Вашингтона. Америка производит наступления не батальонами и артиллерией, но банковскими акциями, она бьет долларами и завоевывает машинами. Вашингтон давно понял, что мало быть правительством идей или людей: надо стать правительством вещей. И вот сюда, в тихую столицу, которая должна обеспечить торжество свое не только над Штатами, но и над центральной и южной Америкой, направлены требования промышленников, воля банков, замыслы трестов, искания партий, чтоб претвориться, через работу немногих, в ясные формулы американской политики. И под спокойно - мудрой оболочкой тишины и бесстрастия кипит неустанная деятельность. Внешне все благостно и прекрас-

но, и на берегах реки Потомака, видевшего некогда биты и кровь, расцветают бело - розовые цветы японских низкорослых вишен: но за зеркальными окнами правительственных зданий у его прозрачных вод бритые сенаторы седые дельцы новые затевают войны, новые замышляют битвы на нефтеносных полях и рудоносных приисках, и делят их распоряжения по радио на линии огня — в канцелярии посольства, на запасные позиции — в конторы трестов банков и газет.

Но эта работа не похожа на европейскую горячку, здесь — ясный, прямой, американский рационализм, жадная порывистая страсть к накоплению, а размеренная сосредоточенная воля к завоеванию. Этот творящий государственный разум американской державы соединяет рамки с необыкновенной отчетливостью. Он ненавидит туманные фантазии, кривые обходные тропинки и запутанные ходы. Он всему предпочитает безрадостно - холодную ясность знания. Американец может подпасть под гипноз идеологии, но не иллюзий. Он пуще всего страшится невежества. Он не хочет чтоб его увлекали, он требует, чтоб его убедили. Он не терпит игры в слепую — это не значит, что у него нет азарта, или что он не рискнет поставить многое на карту. И карта может быть бита, но он знает правила игры, а игра должна быть ясная, fair play. И так во всем, — за зеленым столом клуба и за красным сукном международных конференций. Политика должна строиться как наука, ее основа - непреложность знания, точное осведомление. Политическим руководителем должен быть тот, кто много знает. Не зря лежат шесть миллионов книг в Библиотеке Конгресса, не случайно профессора — президенты, кандидаты в государственные секретари, а ректор Колумбийского Университета Батлер — один из главных руководителей общественного мнения Америки.

В Европе политическое руководство слишком часто дело темперамента или интуиции, миром часто управляют талантливые дилетанты, честолюбивые авантюристы и фанатические сектанты. Американцы хотят избежать этого. Платоновские идеи об управлении государством мудрецов приходятся им по сердцу. Они признают право знания

власть, они считают, что наука нужна не только для университетов и изобретений, но и для организаций нашего существования, они понимают, что страсти сражаются, а разум повелевает

Их министры — спецы и организаторы. Политическая борьба вокруг конкретных программ, а не общих идей. Сталкиваются проекты действий, а не направления мыслей.

Есть много общечеловеческих пороков у американских деятелей, иной раз соединенных с национальными: лицемерием квакеров и самодовольством американских джинго. И все же в каких-то общих линиях пытается Вашингтон сохранить заветы американской демократии — широкую терпимость, свободу взглядов, разумность. Вашингтонские правители свободны от груза европейских традиций, они проще, и непредвзятее. Конечно, нет молодых народов на древней нашей земле, и старая кровь бежит в жилах обитателей Нового Света. Но, покинув свое европейское отечество, они возродились к новой жизни. Они спаслись от преследований—во имя свободной совести и честной мысли. Их выпрямила борьба с природой, дух труда и солидарности, общее стремление законы человеческие вывести из законов божеских. Они все начинали сызнова, в эпоху, когда непрерываемым считалось господство разума. На девственной земле, на расчищенных полях строили они свои города. Это не значит, что у них нет истории. Она краткая—150 лет истории после 200 доисторической туманности. Но она есть, и те, кто управляет сейчас, не может забыть об отцах и праотцах и хочет преемственности для потомства.

В Вашингтоне — история. В нем — единственный раз в Америке — слились традиция и эволюция. Он почитает прошлое и не обедлен памятью.

На европейский взгляд это молодой город. В нем все новое, щеголеватое: крепкие ограды садов не знают ржавчины, не ущерблен камень домов, еще темна бронза статуй и гладок гранит лестниц. Но рядом с новизной—воспоминание о том, что было так недавно — хронологически — и кажется, — сейчас — таким безмерно отдаленным.

Вашингтон — гостинная Америки. В других комнатах спят, едят, работают — там усовершенствованные машины,

практическая мебель, и никаких украшений. В Вашингтонских парадных покоях — как у европейских соседей — стильные кресла, зеркало паркета и зеркала стен, росписи потолков — и портреты предков.

Со всех концов города виден исполинский гранитный обелиск в 500 футов вышиной с алюминиевой пирамидой сверкающей в небесах. Это памятник Вашингтону — полководцу и отцу отечества, основателю города и первом президенту. На площадях и в парках статуи его сподвижников и современников: мудрый Франклин в длинном сюртуке, заложив руку за спину, сохраняет пыл юности на лице всезнающего старца; благородно-тучен Визерспун, подписавший акт о независимости вероятно с тем же достойным видом, с каким сейчас глядит он с каменного пьедестала своего памятника. А за ними Лафайет, полковник Гамильтон — мраморно-бронзовая плеяда мужей, создавших это государство, определивших его законы, мечтавших об его великом будущем.

Недалеко от обелиска — памятник Линкольну. На холме, идущем террасами, исполинских, устрашающих размеров здание в виде греческого храма с неохватными колоннами. Внутри мраморный Линкольн, вытянув тонкие руки сидит в широком президентском кресле, а по бокам, на серо-голых стенах, высечены слова его посланий к народу: огромные колонны поддерживают четырехугольный свод: светло, холодно и величаво. Широчайшая лестница, по которой могут нисходить тысячи, ведет к самой воде бассейна, к разноцветной кайме трав и цветов египтеерга. Вокруг кусты, цветы, деревья, зеленеют окружающие поля, и с террасы Линкольновского храма охватываешь взором берега Потомака, цветущие холмы Виргинии и купола и арки Вашингтона. А если спуститься в город, если проехать по улицам возле Капитолия, то можно увидеть и театр Форда — скучный дом с трехугольным архитектуром — здесь 80 лет тому назад, во имя рабовладельческого Юга бывший актер Бут убил Линкольна за то, что президент хотел американского единства и отмены рабства. На этих улицах, при аресте, погиб и Бут от руки солдат.

Здесь кипела борьба за и против рабства. Тут началась гражданская война между севером и югом. Там, где высится сейчас великолепный отель Капитолий, был некогда рынок рабов: сюда сгоняли негров, и плантаторы в высоких сапогах с хлыстом под мышкой, оценивали крепость зубов и упругость мускулов двуногого скота. А неподалеку сохранился старый дом Треймона: в нем заседал Abolition Club в 30-е годы прошлого столетия. Джентельмены в лиловых фраках и галстуках с горошинкой, в длинных серых или клетчатых брюках со штрипками, в рыже - серых широкополых цилиндрах приезжали сюда из своих деревенских домов. Порою в кабриолетах, двуколках или вместительных семейных рыдванах привозили они молодых жен в кринолинах и робронах, с мантилиями на обнаженных плечах и в изогнутых шляпах, у подбородка повязанных пестрыми лентами. В окнах зажигались свечи, слуги обносили спорящих вином, орехами и элем.

В этом доме, чтобы избавить негров от рабства, принимались решения увезти их в Африку и там основать для них свободную Республику. Тут собирались деньги для колонизационного общества, снаряжавшего корабли для дальней экспедиции. И это было сделано: до сих пор существует в Африке черное государство свободы — Либерея, и по днесь ее столица зовется Монровия, по имени американского президента Монрое.

И потому, что в Вашингтоне история, это город, куда стекаются американские туристы. В праздничные дни повсюду бродит их веселая, своеобразная толпа, по всем улицам онуют огромные автобусы — зеленые, красные, синие — каков цвет, таково и название предприимчивой компании, все показывающей, все об'ясняющей за дешевый доллар.

Я был в Вашингтоне на Пасху, и со всех краев Америки съехались туристы в свою столицу. Вместе с краснощекими студентами в спортивных шапочках, вместе с белокурыми мисс, со смеющимися глазами под роговой оправой огромных очков, ездил и бродил и я по улицам Вашингтона. Мы недолго останавливались на бойких торговых кварталах, где, повинаясь американскому закону, вознеслись каменные

коробки, где в многоэтажных магазинах вперегонку вверх и вниз летят под'емные машины по железным рельсам. Нас не пленяла ни улица Г, ни улица Ф со своими ресторанами, безалкогольными кофейными и соблазнительными лавками. Мы предпочитали кататься по пышному Пенсильвания Авеню, от Белого Дома до Капитолия, мимо многобашенных отелей, мимо правительственных зданий. Мы отдыхали в парке Лафайета и, завернув за церковь Св. Иоанна, мы подымались пешком по улицам Посольств: зеркальные окна чудесных дворцов, тишина садов, имена всех государств мира у внушительных входов в дома разнообразнейшей архитектуры, надменно - важные лакеи с позументами у блестяще - вычищенных автомобилей, торжественная чистота накатанных мостовых и отлакированных тротуаров, тяжелый дух важности, богатства и властной уверенности — а за масонским храмом с дремлющими сфинксами на саженных цоколях—синеющая линия гор и надо всем—очарование солнца, прозрачно - весеннее небо, — запах трав и цветов несет вольный ветер.

Мы ходили по музеям: по стеклянным галереям национального, и смитсоновского шумно носилась многоголосая ватага молодежи, и только в чудесной картинной галерее Конкорана, где бывает по десять тысяч посетителей в день, в ее мраморных залах со стеклянными куполами останавливалась она в молчаливом восхищении перед полотнами Серджента или диковинными пейзажами кубистов.

А с терасы Конкорановского музея видны воды и памятники, перед ним луг, где играют в футбол и теннис, где кричат разноцветные мальчики и девочки, и тут же, автомобильные аллеи и дорожки для всадников.

Была Пасха, во всех церквях об'являли о знаменитых органистах, толпами сходились вашингтонцы послушать «Страсти» Баха, праздничные огни горели в церкви Св. Патрика и протестантской островерхой кирхе, веселая бродила молодежь по Ф и Е и И — и в сумерки парков спешили влюбленные, об руку, белел мрамор в темнеющей зелени садов.

Таким и остался Вашингтон в моей памяти, и до сих пор снится мне не строгое величие его Капитолия, не стольичное великолепие гордых линий, а зелень ветвей, приют садов, веселая толпа и запах весны в Вашингтонских парках.

В ЧИКАГСКОМ ОТЕЛЕ.

Для того, чтобы попасть к себе в комнату в Чикагском Отеле «Моррисон», в котором я живу, я должен из двух десятков подъемных машин гостиницы выбрать одну из тех, на которых надпись «экспресс»: они летят, не останавливаясь, до 20-го этажа, ибо предназначены для лиц, имеющих свое обиталище между 21 и 46 этажем, в то время как лифты с надписью «местное сообщение» неторопливо перевозят обыкновенных смертных, удовлетворяющихся такой низменной банальностью, как 10 или 15 этаж.

Если смотреть на отель «Моррисон» с улицы, отойдя квартала на два, то, задирая голову до боли, можно где-то под облаками, разглядеть смутные очертания победного шпица его башен. Но гораздо приятнее из этих же башен разглядывать улицы.

Я живу в 35-ом этаже. Если открыть окно и, преодолев головокружение, посмотреть вниз, — точно на рельефной карте вырисовываются те улицы Чикагского центра, которые американцы с детской гордостью называют «самым оживленным пунктом земного шара». Я вижу крыши маленьких серых коробок или плоские фасады с крошечными дырочками — окна 20-этажных домов. В глубоких ущельях улиц суетятся черные пятнышки — это люди. Иногда их столько, что они сливаются в муравьиную черную ленту: это толпы в несколько тысяч живых и мыслящих существ. Пятна побольше,двигающиеся быстрее — автомобили, а мелькающие змейки — вагоны воздушной железной дороги, перевозящей тысячи народу. Поезда — совсем как детские игрушки. Разноцветными точками и полосами дрожат огни открытых с 10 часов утра кинематографов, серыми грудями встают циклопические очертания небоскребов: вот 40-этажное здание ежедневной газеты, вот 50-этаж-

ная белая башня одного из американских героев века — Вриглей, короля жевательной резины. А надо всем густая пелена дыма и пара, серые облака, неустанно извергаемые тысячами фабричных труб и печей. И вместе с дымом, к самому небу, подымается исполинский многоголосый рев. Там, внизу, не замечаешь его, черезчур оглушает лязг и звон трамваев, дрожь автомобилей, топот ног, гул грузовиков. И дома, как стена — не слышать, что в соседней улице. Но сюда, на высоту взлетает какой-то стон земли, здесь, где рассеивается копоть и дым нижнего царства, слышишь как единым и пронзительным криком вопит чикагская долина суеты, долларов и обольщений.

А посмотришь вверх: весеннее небо, пустота синевы, плавный бег тающих облаков, тишина. И делается страшно от тишины и вышины, от небесной дали, от земного стога. Скорее забыть, что люди — черненькие пятнышки без всякого значения, опустить оконную раму, задернуть легкую занавесь, скрывающие и облака и улицы.

Лучше не смотреть ни в высоту ни в глубину, лучше опуститься в огромное кресло — сел, точно утонул в какой-то блаженной податливости—и возвратиться в удобное царство американского отеля.

В нем, хоть и близко оно к облакам, небесного только и есть, что Библия, которую на ночные столики, в назидающие плавающим и путешествующим кладет особое сердобольное «братство Гидеонов». В остальном — забота земная, удобства грешной плоти, чудеса человеческого муравейника.

В четырех тысячах комнат отеля «Моррисона» живет около 5.000 людей разного цвета кожи, национальности и богатства. Все предусмотрено там для их комфорта, все рассчитано для их дел или наслаждений: мягкая постель на невообразимых пружинах, легчайшие об'ятия кресел, ковры, в глубине которых заглушаются шаги, вентиляторы для прохлады и калориферы для тепла и даже искусственный камин «для глаза», особое полотенце для бритвы и замша для смахивания пыли с ботинок, разные сорта мыла в ванной комнате, имеющейся в каждом номере, и тут же перчатка для растирания кожи в особо-бумажном пакете, ду-

ши разных родов, вода холодная, горячая и ледяная, письменные принадлежности и телефон, указатели и путеводители и ресторанное меню на столе, пять ламп для того, чтоб можно было и читать и писать во всех положениях, и стоячем, и сидячем, и лежащем, шкафы в стене, с приспособлениями для одежды, и десятки мелочей, доказывающих с несомненностью, что для оборудования отеля Моррисона было затрачено не малое количество мозговой энергии. Нет нужды звонить прислуге, ждать никогда не отзывающегося лакея или заснувшую горничную, за них работает «сервидор». В широкой двери устроено нечто вроде шкафа с двумя дверцами. Одна отпирается снаружи в корридор, другая изнутри комнаты. В двери в корридор — решетчатое оконце. Если в дверь стучат, можно открыть внутреннюю дверцу и посмотреть через окошечко на гостя — предосторожность не лишняя для богатых людей, желающих обезопасить себя от воров и грабителей Чикаго, наипреступнейшего города и мире, — и в этом пальма первенства принадлежит Америке. Если нужно выгладить костюм, отдать белье в стирку или вывести пятно на пиджаке, я вешаю или кладу эти вещи в «сервидор», в котором имеется целая система крючков, бумажных мешков и всяческих приспособлений. Затем номер комнаты сообщается по телефону в администрацию «сервидора». А через некоторое время в «сервидоре» окажется выглаженный костюм или выстиранное белье в великолепно запакованных коробках.

В каждой комнате самое малое количество вещей. Если номер дешевый, то один из выдвижных ящиков комода превращается в письменный стол, где услужливо лежат разные сорта перьев и бумаги, ночной столик прекрасно может послужить столиком для пишущей машины и столиком для телефона, к трубке которого приделана особая железная подставка с листиками бумаги — для записей. А если у вас не комната, а апартамент, то это значит, что в гостинной есть радио, грамфон и механическое пианино.

Над землю 46 этажей, под землю 5: там кухни, электрические станции, холодильники, склады угля и провизии, механические прачешные и мастерские, где работают сотни рабочих. 3-й подземный этаж для публики. Между 8 и 10

часами утра подъемные машины спускают сюда тысячи людей для утреннего завтрака. На каждом столике гостя ждет газета — 60 или 80 страниц большого формата, 50 барышень в белых платьях разносят знаменитый «грейп-фрут», огромные калифорнийские плоды — соединение апельсина и лимона, без которых для истого американца и завтрак не завтрак, овсяную кашу со сливками и сахаром, поджаренную свинину и черный или зеленый чай. Для обеда раскрываются другие залы: знаменитый в Чикаго ресторан терраса, расположенный уступами, концентрическими кругами, сходящимися к сцене, для того, чтобы обедающие могли свободно следить за выступлениями танцоров, акробатов и певцов, под завывающие звуки джазбандного оркестра.

После завтрака можно отправиться в одну из больших парикмахерских, где на десятках вращающихся кресел бреют мужчин и стригут женщин. А так как не стриженных женщин в американской природе не существует и так как женский волос растет не в пример мужскому быстро, то в парикмахерской постоянная очередь. Но зато работа идет с головокружительной скоростью, и в то время, как ловкий цырульник, почти всегда грек или итальянец, растирает лицо особым кремом перед бритьем, его помощник причесывает волосы, негр чистит сапоги, барышня полирует ногти, а другой негр обмахивает пыль с сюртука или пальто.

А двумя этажами выше целое царство гигиены: дамские институты красоты со всевозможными втираниями, массажами и прочими тайнами косметики, с салонами для постоянной завивки волос, длящейся в зависимости от желания и цены, от 1 до 3 месяцев, с кабинками маникюров и педикюров. Тут же кабинеты отельных врачей (почти каждый день кто-нибудь заболевает или умирает в мориссоновском отелем городке), турецкие и римские бани, а немного далее ослепительные витрины магазинов, немедленно побеждающих взор и сердце женщин, но созданных на погубель мужчин.

Этажем ниже американские дельцы в черных очках и атлетические барышни с бесстрастными и прекрасными лицами пишут письма у десятков столов. Тут же стеногра-

фистки в юбках до колен, с взъерошенными кудрями записывают мысли важного седого адвоката, составляющего бумагу в суд. Поодаль, несколько машинисток враз трещат на ремингтонах. За ними — залы в голубом дыму папирос, сигар и трубок — это курительные с кожаными креслами и диванами. Еще дальше бильярдные и зал для спорта.

В первом этаже, в исполинском холле подлинное столпотворение, непрерывно и безшумно вертятся турникеты у дверей, выходящих на разные улицы. Неиссякаемым потоком льются две струи — входящих и выходящих, гудят подъемные машины, в западной, восточной, северной и южной части здания. Служителя, разнося телеграммы, выкрикивают имена, швейцары возглашают об автомобилях, у особых окошек расписывают новоприбывших по свободным номерам, согласно особым статистическим таблицам, тут же целая стая молодых боев налету подхватывает багаж, счета, ключи и чаевые. У 30-ти надрывающихся от звуков телефонных кабин очередь — это городские телефоны, рядом иногородние, а дальше — кабины для местного разговора с тем, кто находится на территории отеля, где-нибудь на третьем этаже под землей или 25-ом над землей. В противоположном конце — новая очередь — это телеграфная станция и продажа билетов в театры и на все поезда и пароходы Америки и Европы. В самой глубине холла новая зала: матовые колпаки и абажуры на лампах, стильная мебель, двести покойных кресел, столики, диваны. Это зала для ожидающих. Изящные дамы в мехах, наброшенных на паутинно-шелковые платья, молодые барышни в спортивных куртках, суетливые дельцы, пасторы в черных сюртуках и коммивояжеры в клетчатых брюках, заполняют гулом сдержанных голосов полумрак чинной залы. А подле нея особые лифты везут гостей на банкет: в третьем этаже есть зала на тысячу персон, а в пятом — несколько поменьше.

Не выходя из гостинницы, в ее многочисленных магазинах, расположенных в разных этажах, можно одеться с ног до головы, да еще закупить кучу мелочей, вплоть до игрушек. Не хватит наличных денег — внизу специальное

кредитное учреждение, производящее все банковские операции, меняющее все валюты.

А если вы устали от покупок, от дел и телефонов, от писем, продиктованных отельной машинистке, от приказаний, данных шустрым боям, если вам надоели газеты, купленные в одном из отельных киосков, сигары, которые вы приобрели в специальном магазине, игры, которыми вы забавлялись в одной из спортивных зал, — вы можете отправиться в комнату электрического массажа, потом, освежившись, спуститься в кондитерскую, где поедается бесчисленное количество мороженого со сливками и содовой водой. Но если и это не поможет, если в глазах начнет рябить от автомобильного потока, бушующего перед окном кондитерской, а голова станет пухнуть от толчеи в холле, — можно отправиться к себе, наверх, в спасительную тишину 35-го этажа.

В его корридорах, устланных мягчайшими коврами, гудит, завывает ветер.

В комнате, на столе лежит карточка с изображением спящего ребенка в коляске и огромной собаки, охраняющей детский сон. На карточке написано: «Прошу не тревожить». Если вы ищите совершенного покоя — вывесьте карточку на двери. Ее заметит прислуга, которой никогда не видно, но которая делает правильные обходы корридоров, и сообщит кому следует. И с этого момента перестанет звонить выключенный телефон, телеграммы упокоятся в ящике, в котором полагается лежать ключу от комнаты, посетителям будет заявлено, что вас нет дома. Тишина, покой и одиночество — если это делается ради одиночества.

В спускающихся сумерках можно опять открыть окно, снова взглянуть вниз. Глуше и ровнее сделался стон земли. Тысячами зажглись огни: струи света, пляшущие разноцветные искры, движущиеся звезды, вспыхивающие и гаснущие в небе буквы исполинских реклам — потоки блеска там, в зияющих провалах города.

Когда глаз утомится от этой ежевечерней иллюминации, вы возвратитесь к письменному столу и под его стеклом неожиданно заметите печатный лист с отельной

философией. Вот чего желают владельцы чикагской гостиницы своим гостям:

«Да будет отдых ваш полон сладких снов и мечтаний. Да будет жизнь ваша здесь вашей собственной, свободной жизнью, безо всяких помех и ограничений, такой, какой вы сами себе ее желаете. Да будут и тело и дух ваш здоровы под этим кровом. Да будут счастливы здесь ваши дни, так что радостью станет для вас воспоминание об этом отеле. Да будет каждое письмо, телеграмма или звонок для вас приятной вестью. Мы все — путешественники, от порта рождения — до гавани смерти, странники меж двух вечностей. На краткий миг мы нашли приют в этом доме и мы хотим пожелать вам всего хорошего: путешественники, да хранит вас Бог, и да исполнит он желания вашего сердца».

Я читал афоризмы отельных философов, облака чикагского неба отражались в окнах 35-го этажа, гул земли становился все ровнее и успокоеннее, и в тишине исполинского «Моррисона», оставалось только пожалеть, что жизнь не столь любезна с путешественниками между двух вечностей, как владельцы американского отеля.

Марк Слоним.

СТИХИ НА ТЕМУ

«Скит» — Прага.

П О Л Е Т

А. Л. Бему

Как на костре мечты дремоту жгли,
отец будилъ и поднял на рассвете...
Над морем шел волной упругой ветер
и перья крыл гудели, как шмели.

Легко взнесли прочь от земли рули,
крича, внизу бежали стайкой дети,
день выросал в торжественном расцвете,
а горы сизы снижались и ползли

Крит падал в море дымный, как опал,
казалось солнце близким и косматым...
Отец внизу встревоженно кричал, —
но трудно быть покорным и крылатым...

...Был вечер тих, как мальчик виноватый,
на берег родины вступал один Дайдал.

ВИДЕНИЕ

«Парфянская в ноге открылась рана.
Покинув двор и сплетни при дворе

я жил в глуши, в предедовской норе,
и не ушел с войсками Юлиана.

Мечтой был с ним. И вот в томленьи странном
прогуливался как то на горе.
Вел раб меня, мы сели на горе.
Над морем тлели тонкие туманы.

Клянусь Луной — то было не во сне:
косматый фавн бежал, рыдая, мимо!
Раб закричал, крик передался мне,
и фавн исчез, как бы растаяв дымом,

и только эхо, не устав звенеть,
сказало нам, что пали боги Рима...»

В БИСТРО

Не знали мы кто в споре утвержден,
над Францией какое взвееет знамя —
и вот в бистро, между двумя глотками,
сказал матрос, что мертв Наполеон.

Затихли все. Лишь английский шпион
тост предложил своей случайной даме
за короля, что нынче правит нами,
рукой врага вернув наследный трон.

И — всем в укор — была, соблюдена
гулящей девкой память славы нашей:
в лицо шпиону плюнула она,
на гнев растерянный не обернулась даже

и вышла вон. И в окна со двора
к нам донеслось, как эхо — Ça ira...

ДУЭЛЬ

Еще рассвет из труб не вышел дымом,
спал Петербург — в норе осенней крот, —
скрипя ушли полозья от ворот —
и вот вся жизнь — как эти окна — мимо.

Нельзя простить, нельзя судить любимой —
всему - ль виной гвардейца наглый рот?
Ведь в первый раз ее душа поет,
а в первый раз поет - неодолимо..

Но как ему — какой рукой гиганта —
клубок сует распутать и поднять?...
...И подошла шагами секунданта
и в сердце смертная затихла благодать...

...И вдруг припомнил — по созвучью — Данта
и пожалел, что стих не записать...

В ИЗГНАНИИ

Утонет солнце, расплескав залив,
жар не томит тучнеющее тело,
и он глядит, как доит коз Марчелла,
литые руки смугло обнажив,

и шутит с ней. И даже с ней, — учтив,
ее кувшин несет отяжелелый,
тугих грудей коснется мыслью смелой
и вспомнит все, тревогу оживив...

О, Дон Жуан! Припав на эту грудь
тебе-ль себя предать и обмануть,
несытый зной бросать в послушном теле,
и услышать — перевернулся мир! —

Не командор идет на званный пир,
а Лепорелло крадется к Марчелле....

С. Рафальский

КАК ПРОИЗОШЛА РЕВОЛЮЦИЯ *)

(Запись рабочего)

I. С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ.

Перед 9 января 1917 года начались большие аресты среди петроградских рабочих. Тем не менее 9 января дружно и организованно прошла траурная забастовка в память расстрелянных товарищей. Опять аресты. Правительство было подготовлено. Среди рабочих шли слухи, что на пожарных каланчах и на крышах некоторых домов раставлены пулеметы. 10 февраля в Колпине вспыхнула забастовка. Снова аресты, снова рабочие жертвы. По Петрограду среди рабочих пошел говор о необходимости подготовки празднования международного женского праздника — 23 февраля, и рабочие, как женщины, так и мужчины ожидали этого дня. Утром 23 февраля у нас в Арсенале, большинство рабочих собралось в мастерскую до начала работ — пока нет начальства — обменяться мнением о наступающем дне. Мысль у большинства присутствующих была одна и та же — нужно выступить.

В это время вошел один товарищ и сообщил, что шествие начнется с лесного завода «Айваза», Чернорецкого подрайона, Выборгского района, и, что каждому за-

*) Настоящие очерки представляют собою запись, сделанную петроградским рабочим — с. р. И. Марковым, одним из непосредственных участников революции.

воду и фабрике надо присоединяться по пути. Почему то и начальство явилось в этот день раньше. Начальником мастерской у нас был гвардейский офицер в чине поручика. Он вошел не в свой кабинет, а стал ходить по мастерской, поглядывая со свирепым видом, исподлобья на всех. Рабочие разошлись по своим местам. Кто сидел, кто стоял, собравшись по два, по три человека. Как только засвистел свисток, он закричал:

— Начинаем работу.

И рабочие взялись за работу. А по мастерской то и дело ходят два мастера и начальник, сменяя друг-друга. Рабочие волнуются, под разными предлогами подходят один к другому, но начальнический глаз смотрит зорко, то и дело раздается крик:

— Чего не работаете?

То и дело начальство ходит в уборную и выгоняет оттуда рабочих.

У одного товарища была ушиблена немного рука и он пошел за пропуском, как будто на перевязку, для того, чтобы в приемном покое встретить товарищей из других мастерских и узнать, какие настроения у них. Ему в пропуске отказали. Фельдшер, мол, болен, доктора нет... Наконец, дождались свистка на обед. Я и несколько других товарищей обедали в мастерской — на квартиру далеко было идти — а тем, которые идут обедать по домам, мы говорим:

— Узнайте все и поскорее приходите на завод.

У нас во время обеда начались дебаты. Один кричит, что провалимся, не пройдет наше дело.

Пообедали, сидим, ждем товарищей. Открываются ворота, вбегает с криком один:

— Гости скоро придут к нам.

А мы как будто и не знаем, какие гости. Кричащий любимчик начальника, попросту передатчик. Все же стали спрашивать его. Говорит, что Чернорецкий подрывом бастует, рабочие с завода к заводу идут. Подошли и наши, сообщают, что у «Нобеля» митинг, скоро и к нам придут. Кончился обед. Стали на работу. Начальник вновь по мастерской расхаживает, не снимая своей длинной гвар-

дейской шинели. Вдруг, старший мастер бежит к воротам, и кричит во все горло сторожу:

— Закрывай ворота, скорей.

И сам пытается закрыть. И кричит начальнику:

— Идут!

Начинается стук в ворота и окна. Слышим крики:

— Бросай, товарищи, работу, выходи!

Не больше, как через полминуты, в другие ворота входит группа подростков, человек в 70, от 16 до 18 лет. Фабричных девиц больше, чем парней:

— Призываем, товарищи! Бросай работу! Идем хлеба просить. Не можем голодные работать!

Рабочие быстро одеваются. С другого конца мастерской бежит начальник, кричит на нас злобно.

— Как вам не совестно бросать работу! Сопляков, хулиганов — мальчишек испугались. Сопливых девченок-проституток! Берите палки, гоните их вон ломами!

Но группа человек в 40 уже оделась. Идем к воротам. Остальные одеваются. Человек 10—15 работают — это штрейкбрехеры и наушники. Подбегает ко мне мастер, говорит:

— Как тебе не совестно, старый ты человек, испугался!

Действительно, я по летам старый.

Начальник же в это время гонит вон пришедших, подходя все ближе и ближе к воротам, бранясь всякими словами. Рабочие уже все собрались и идут. Начальник хватается палку, неизвестно, что хочет делать. Как бросят в этот момент со двора и в одно и другое окно кирпичами, как поднимется стук и звон разбитых стекол! Подхватил наш начальник фалды гвардейской своей шинели, да как кинется бежать в контору — только его и видели.

Наша мастерская вышла вся, за исключением нескольких вышеупомянутых. Спрашивает нас молодое поколение:

— Товарищи, все вышли?

— Нет, отвечаем, человек пятнадцать осталось.

Крик послышался:

— Всех надо выгнать!

Впереди стоят рабочие кузнечной мастерской. Стоим ожидаем. Раздался из толпы голос:

— Товарищи, постарше! Запевайте марсельезу! Мы молодые, не знаем!

Ко мне некоторые обращаются:

— Товарищ, начинайте! Вы хорошо знаете!

Отвечаю:

— Помогайте!

Я запел, остальные подхватили. С марсельезой подходим к воротам, что на Симбирскую улицу выходят. У ворот стоит помощник начальника завода, генерал Дыхов с начальниками других мастерских. Кричит во весь голос:

— Опомнитесь! Что вы делаете? На помощь врагу нашему, немцу, идете! Предатели России!

На это в ответ из толпы:

— Вы генералы — предатели. Шпионы! Сидите в военном министерстве.

Еще больше поднялся крик:

Сухомятинов! Мясоедов! Жандармское Правление! Корпус! Князь! Сидят во дворцах! Царица сама шпионка!

Перед этим, ведь, рабочие читали письмо к рабочим членам Государственной Думы со списком замешанных в шпионаже.

Из толпы несутся крики:

— Громче, товарищи!

— Бросьте разговаривать с царскими прислужниками!

— Идем на улицу, товарищи!

— Запевай: Смело, товарищи, в ногу!

— Нет, лучше Варшавянку!

II. НА УЛИЦЕ.

Дружно запели и двинулись на улицу. При выходе у ворот на улице, стоят жандармы, озлобленные, переглядываются друг с другом. Лица у них покраснели от возбуждения.

Но тут же при выходе, у ворот, стоят ожидавшие нас товарищи с других заводов, кричат и поют — это они нас

приветствуют. Мы вливаемся в общую массу. Сзади кричат, спрашивают:

— Вышли ли, товарищи, из Лафетной и прочих мастерских?

Большинство, ведь, мастерских нашего завода расположено по другой стороне улицы.

— Нет, не вышли!

— Чего они там ковыряются?

— Там генерал Гедеонов, начальник завода, не пускает! Товарищи рабочие с других заводов кричат:

— Эй, наши! Идем выручать! Чего с ним рассуждать!

Пошли с песнями к мастерским. Слышим, голоса несутся:

— Открывай сами, чего на них смотреть!

Минуты через две, через три раскрываются ворота. Крики, и пение, и приветствия сливаются в один радостный гул. Машут красными платками мужчины и женщины. Жандармы конные стоят сумрачные. Офицер что-то им говорит. У каждого нагайка, наготове в руках держит. Но вся Симбирская улица заполнена рабочими. Остновились трамваи. Раздаются голоса:

— Тише! Подожди петь!

Моментально наступила тишина, все успокоилось, слышим:

— Товарищи, идем на Невский Проспект!

— Нет, товарищи, сперва к Фениксу, Розенкранцу, на Металлический... Это большие заводы, по-соседству с нашим, на Полюстровской набережной Невы, выходящие на Безбородкин проспект.

— Верно, идем к Фениксу! На Невский потом!

Двинулись. Жандармы кричат что-то. Голоса хриплые, где же им перекричать толпу... Свирепо кричат, а что — не разобрать. Кричат и рабочие:

— Не смеее задерживать. Не заставляйте нас, голодных, насильно работать! Идем, товарищи!

Медленно идем. Снова требуют песен.

— Запевай, товарищи!

А тут работницы спрашивают:

— Где папаша?

А другие:

— Где дяденька? Он знает песни.

Это обо мне. Тут товарищ Воронков, *) Петр Антипович, рядом со мною стоящий, кричит мне:

— Старая кочерга, чего спишь! Видишь, дочки тебя требуют, папаша, да папаша, учи нас молодых, сами петь не умеем...

Моментально вокруг меня образуется кольцо рабочих:

— Папаша, просим, просим!

Не успел я двух слов пропеть — «смело, товарищи», как подхватили все, кто знает слова. У всех демонстрантов высокое настроение, веселые улыбки. А жандармерия хмурая, злобная по обеим сторонам улицы едет. И время от времени грозит. Но что нам ее угрозы... Всадников то, ведь, было не больше двадцати пяти, а рабочих, мирной демонстрацией идущих, тысяч шестьдесят-семьдесят набралось. Что и не мудрено — Выборгский район по рабочим самый многолюдный — тысяч до столпятнадцати их число в нем доходило.

Подходим к Фениксу, а из него уже выходят, песни поют, нас приветствуют. Все вместе двигаемся к Розенкранцу — на Трубо-меднопрокатный; здесь работа полным ходом идет. Мы кричим:

— Товарищи, кончай работать!

И песни поем. Нет никаких признаков приостановки работы! Два предположения возникают в нас: или не

*) Петр Антипович Воронков старый член Партии Социалистов-Революционеров, по профессии экипажник, копеежник. Я с ним познакомился в 1905 году в Лиговском подрайоне Городского района. Он был председателем правления союза экипажников, в котором являлся весьма крупной фигурой, и вряд ли ошибусь, если скажу, что, главным образом благодаря его влиянию и его работе, три четверти членов союза экипажников примкнули к партии социалистов - революционеров. Петр Антипович был хорошим оратором и, вообще, среди петроградских рабочих пользовался большой популярностью. Он принимал горячее участие в работе Больничной Кассы, работал в кооперации, был одним из лучших работников Военно - Промышленного Комитета. С момента образования в 1917 г. Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и до 25 октября был в нем делегатом рабочих. Кроме того, был выбран в гласные в районную Думу Выборгского района. По слухам расстрелян большевиками в конце 1918 года.

знают и не видят — заборы высоки, или не хотят. Вернее, не хотят. На этом, ведь, заводе мало мастеровых, больше чернорабочие...

— Товарищи, идем на завод. Снимем с работ...

— Идем. Идем!..

И сразу общий крик:

— Сторож! Сторож, открывай ворота!

Стучим. Никто не открывает, никто не отвечает.

— Не откроешь, ломаем сами!

Продолжаем петь.

— Ломай товарищи!

Подходим к воротам. Нажимаем.

— Мало, товарищи. Подходи сюда...

Жандармы кричат:

— Не смей! Стегать будем!

Но близко подойти не могут. Где им пробраться через рабочую толщу.

В этот момент человек двадцать городских из пешей полиции Полюстровского участка подходят и кричат:

— Расходись! Арестуем!

Рабочие как будто бы не замечают полиции. В это время раздается дубинушка. Как сорвались ворота с петель!.. Хлынула масса на завод, тысяч в пять товарищей...

— Подходи побольше, черносотенный тут завод.

Пошел и я. Кричим:

— Кончай, ребята, идем хлеба просить...

Куда там, большинство начало прятаться: кто за машины, кто куда. Начали мы стекла бить, чтобы напугать, болтами бросать. Наш способ подействовал — стали одеваться. Вошли мы с Безбородкина проспекта, а выходить стали на Набережную — другими воротами. Тем временем снятые нами с работ вновь прошли через Безбородкин, и и на завод, и на работу встали. Пришлось принять более крутые меры — просто повыгнать. Дело в том, что на этом заводе никакой партийной работы не велось и партийных организаций не было, только были отдельные товарищи, одиночки. Тем временем, остальные манифестанты прошли к Металлическому — вошли во двор огромный, а там уже происходит митинг. На трибуне товарищ Шилин

— тоже рабочий, старый социалист - революционер, блестящую речь произносит, призывает бастовать, к чему должен стремиться рабочий класс, говорит. Слышим чей-то голос:

— Товарищи, идем к Гаванере!

— На завод к Корнилову идем!

— Туда уже много ушло, лучше на Невский идем!

— Стой, товарищи, подождем! Корниловцы и Гаванеровцы подходят.

— Начинай петь!

Слышим, в стороне марсельезу запели.

— Идем на улицу!

— Идем. Идем. Идем!

Выходим на Безбородкин. Видим корниловцы идут с песнями. И впереди небольшой красный флаг и красные платки над толпой. Охватил нас всех революционный энтузиазм.

Стали рабочие группироваться. Стали партийные рабочие говорить, что надо нам всем, партийным, идти впереди, что бы при появлении больших отрядов козачьих или полиции, не бросились демонстранты бежать. Услыхали другие эти разговоры:

— Да, верно! Передай товарищи назад...

Пробираюсь и я, вижу своих заводских, Бурцева, соц. демократа, меньшевиков, высматриваю своих соц.-революционеров, Кисликова, Потапова, Воронкова. А девицы, мои вдогонку кричат:

— Дяденька, куда уходишь?

— Папаша, чего от нас бежишь? Мы с тобой пойдем!

Кто нас песни учить будет?

Я пробиваюсь вперед. Увидал меня т. Бурцев и говорит.

— Товарищ Марков! Куда же столько женщин привел? Они при появлении полиции сразу побегут и на других наведут панику! А это, действительно, женщины за мной пробиваются. Услыхал это Иванов:

— Верно, товарищ, говоришь, обязательно панику наведут!

— Да, я их не звал идти за мной!

— Что-ж делать, оставайся с ними, товарищ, сзади!

— Что бы меня другие заподозрили в трусости? Нет, не останусь! И все вперед движемся. Сзади раздаётся пение.

— Дяденька, запевай! Чего разсердился?

Я же с товарищами все не соглашаюсь. Услышал товарищ Воронков, спрашивает:

— О чем спорите?

Я об'ясняю и Бурцев об'ясняет. Воронков его сторону принял:

— Верно, товарищ, должен согласиться.

Я молчу.

— Ну что, старая кочерга, не хочешь...

Женщины слушают, ничего понять не могут, начала разговора не слышали. Воронков повторяет:

— Оставайся, больше сделаешь! Петь хорошо будете!

Тут снова женские голоса слышались. Он разсердился:

— Устанем, настроение будешь будить у товарищей революционное.

— Ну, хорошо, послушаюсь. Ну, племянницы, давайте петь!

— Начинай, начинай, дяденька!

— Какую?

— Варшавянку, варшавянку...

III. С КАЗАКАМИ.

— «Вихри враждебные воют над нами»... идем. Слышим, другие поют марсельезу. Обернулся назад — не видно конца. Сколько товарищей, рабочих... Черная колышущаяся толпа и все революционно веселы. Лица сияют. Поднялся крик:

— Эй, долой с панели! Мужчины, молодежь, долой с панели! Потому с панели гонят, что во время демонстраций собираются уличные подростки лет до 17, разбивают магазинные окна и с витрин воруют.

— Шибче, товарищи, иди!

Раздался Интернационал: «Вставай, проклятьем заклейменный».

— Эй, товарищи! Казаки, казаки, едут!

Смотрим все на Арсенальную улицу.

— Не бойтесь, товарищи, бить не будут!

— Да, не будут, слышалось втихомолку, достанется спине, подставляй ее.

Несутся галопом.

— Громче пойте песни!

Вот, вот врежется в толпу...

— Ура! ура! ура! Товарищи, казаки!

— Привет товарищам казакам!

Моментально образуются живые трибуны, поднимаются рабочие — ораторы на плечи, призывать товарищей-казачков не бить рабочих. Уперлись лбами рабочие в казачков, казаки в рабочих. Вижу поднялись товарищи Тетеркин, *) Воронков, Бурцев, Федоров, Егоров и др.

— Товарищи казаки, пожалейте своих братьев рабочих, жен и сестер и детей! Не могут работать голодные, от голода изнемогают. Протяните вашу братскую руку, казаки, рабочему...

А казаки сквозь толпу быстрым шагом едут.

— Ура! Ура товарищи казаки... так и несется по всей толпе, «ура» к хвосту далекому позади катится.

Казачков было не меньше ста человек. Должно быть целая сотня.

— Смело, товарищи, в ногу...

Вновь раздается марсельеза. Ура! Ура! Ура!.. рабочие красными платками машут. А у казачков на лицах ласковая улыбка, а некоторые из них, проезжая, держат руку под козырек, озираясь по сторонам, чтобы офицер не заметил, — привет поющим и приветствующим их отдают. Некоторые машут нагайками, будто бы грозят, и тихо, тихо подхлестывают по рабочим — не удар, а ласка.

Среди рабочих говор тихий: это тебе не девятсот

*) И. Тетеркин, петроградский рабочий, член партии с. р., член Учредительного Собрания, расстрелян большевиками в Сарапуле осенью 1918 года.

пятый или шестой или седьмой год, тут бы сотни лежали раненых, а может быть и убитые были бы, не те казаки то стали.

— Стой, товарищи! Не идите. Позади жандармы нагайками бьют рабочих.

— Палачи, кровопийцы! не напились голодного рабочего крови...

— Ура! Привет товарищам казакам.

— Проклятье кровопийцам, жандармам! Они храбры на безоружных рабочих. Вот бы им на позиции. Небось, все бы попрятались от немцев.

Выделилось человек пятнадцать, а может быть и двадцать казаков, скачут быстро по тротуарам — улица то ведь вся полна рабочими — по направлению к жандармам.

— Привет товарищам казакам!

— Да здравствуют товарищи казаки!

Со всех сторон раздаются приветствия. И красные платки, и красные платки... При приближении казаков жандармы еще больше начали работать нагайками и давить лошадьми, а со всех сторон все несется — Ура! Привет товарищам казакам!

Подъехали казаки к жандармам и стушевалась вдруг жандармерия, перестала стегать нагайками — наверное казаки не дали.

И снова:

— Ура! Ура! Ура! Привет товарищам казакам.

— Товарищи казаки, будьте друзьями рабочих. Забудем старую вражду. Протянем друг-другу руку. Давайте защищать вместе трудящийся народ — крестьянина и рабочего. Вы ведь сами землепашцы...

Это речь говорил рабочий с Металлического завода. Казаки слушали, переглядывались, о чем то шептались. Снова тронулась манифестация. Казаки из толпы рабочих выделились — по бокам едут. У одного дома в палисаднике дети собрались. Сами ли переняли у рабочих или кто их научил — не знаю, приветствуют казаков.

— Уля! Уля! Уля! Пливет товалищам казакам — раздаются детские голоса. И машут не то тряпочками, не то

платочками. Это молодое поколение трудового пролетариата Арсенальной улицы.

Сворачиваем на Симбирскую. Впереди тише стали идти. Не пускает конно полицейский отряд человек в сорок, а может быть и больше. Стал на углу Тихвинской и Симбирской и не пропускает. Рабочие с силой вперед прорываются. Слышим злой-презлой голос пристава:

— Не смей дальше идти! Не пропущу! Арестовывать буду, кто дальше пойдет!

Опять живая ходячая трибуна. Вскочил рабочий на плечи, полицейских призывает:

— Товарищи городовые! Что вы делать хотите? Арестовывать и бить хотите своих братьев, отцов и жен и сестер, голодных рабочих? Не слушайте начальства. Ему самому хорошо живется...

С разных сторон из толпы рабочих слышатся слова призыва к городовым. Этот призыв не бить манифестантов как будто подействовал. Озлобление пало. Это заметно по лицам. Как раз в этот момент раздается разъяренный не крик, а звериный рык, — пристав приказывает городовым начать аресты агитаторов:

— Разогнать всех стервецов. Арестовать прохвостов, негодяев!...

Околодочный берет под козырек, поворачивается, говорит что то городовым, указывает на панели. Городовые пришпорили лошадей, поскакали по направлению к живым трибунам, началась давка. Несколько рабочих подпали под лошадей, другие отведали полицейской «булки» — так рабочие называют нагайку. Поднялась паника, кое-кто стал разбегаться.

— Стой, товарищи! Не беги! Идем набережной Невы в город!

— В город! В город! На Невский!

По прежнему несутся призывы к городовым, но уже слышится и ругань:

— Кровопийцы! Кровопийцы! Будь вы прокляты!...

Полицейские медленно продвигаются перед сплошной стеной рабочих. Сзади же по панелям тихо едут казаки. Их приветствуют вновь:

— Ура! Ура!

Машут платками. Позади казаков жандармы. Увидели жандармы полицейский отряд, решили выехать к полицейским вперед, — казаков об'ехать. Казаки загородили, не проедешь — мешают. Приветствуют мои «дочки и племянницы» казаков платочками — красными и белыми и марсельезой... — сегодняшний день, 23 февраля, у меня много дочек и племянниц.

Повсюду полицейские продвигаться перестали. Видят, по головам рабочих не проедешь.

— Рабочие! По Тихвинской на Набережную.

— Полиция от Финляндского вокзала летит.

Стали мы смотреть в сторону вокзала, видим по Симбирской улице полицейские несутся. Заговорили мои «дочки и племянницы»:

— Теперь нас арестуют — полиции стало много.

— Ну, если всех арестуют разом, места у них не хватит.

— Пусть арестовывают, пусть арестовывают. Подойдем в тюрьме, не одни будем там

Полиция приближается.

— Не бойтесь, товарищи. Дружно вперед. Там ее не много.

Это полицмейстер Выборгской и Охтенской частей под'езжает. К нему пристав, что то говорит. Через несколько минут выделяется городской, стоявший сзади полицмейстера — это вестовой. Выслушав приказ полицмейстера, он поворачивается, под'езжает к казачьему офицеру берет под козырек, передает приказ. Офицер оборачивается, делает рукой знак и казаки быстро едут вперед. Рабочие все время приветствуют их так же, как и жандармов — у рабочих доброе сердце, забыли, как их били нагайками. Несется с перерывами пение, впереди и сзади слышится: Варшавянка, «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою»... Офицер под'ехал к полицмейстеру, взял под козырек, здоровается, а пристав не кричит, а рычит на поющих. Казаки в ожидании приказа смотрят на рабочих и на их приветствия отвечают приветствиями, незаметными начальству. Полицмейстер подзывает и

пристава и что то говорит ему и офицеру. Через несколько минут жандармы, а с ними десять или пятнадцать полицейских поехали назад. Рабочим вперед не пройти, стали сварачивать на Набережную Невы и к Литейному мосту, а у моста видны конные городовые! Слух об этом побежал от рабочего к рабочему и добежал до самого центра, на Симбирскую улицу. Часть казаков вперед поехала, часть осталась на углу Тихвинской-Симбирской. Повидимому, что то готовятся предпринять. Отодвинули с панели, дали рабочим продвинуться вперед. С большим трудом продвигаемся и осторожностью, говорим между собой о том, что, очевидно, нам капкан устраивают. Слышатся слова:

— Ну, что-ж, помирать, так помирать раз, все равно, когда.

— Товарищи, если будут стегать, лица прячьте, чтобы глаза целые были.

Рабочие группируются по заводам и заводским вождам. Моих «дочек и племянниц» ряды немного поредели, не то из боязни полиции, не то из за холода: очень уж силен был мороз. Все мы чувствуем себя героически. Продвигаемся.

— Ну, что-ж замолчали?

Узнали некоторые, что рабочие говорит о капкане:

— Чего там бояться. Запевай.

— Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе...

Мы уже прошли мимо полицмейстера, на лошади наезжающего. Позади тоже поют.

— Ура! Ура! Привет товарищам казакам.

Слышим злобные окрики не то пристава, не то полицмейстера:

— Молчать. Прекратить безобразие.

— Расходитесь. Всех арестую.

— Городовые, разогнать негодяев.

— Казаки, не пускать вперед рабочих.

Казаки не пускают вперед. Рабочие пробиваются сквозь полицейские ряды.

— Не смей переть на городских.

Конный пристав бросился на нас — куда прете?

Пустил в ход свою нагайку — это был сигнал городовым. Моментально городовые заработали нагайками, поднялся невообразимый крик и проклятия. Полицмейстер кричит казачьему офицеру:

— Господин офицер, не пускайте вперед.

Офицер командует казакам. Казаки выезжают на середину улицы и некоторые из них вместе с офицером машут нагайками и тихо-тихо ударяют ими рабочих. И вновь подымается крик:

— Ура! Ура! Привет товарищам казакам.

Раздается пение марсельезы, все сливается в общий гул, в котором время от времени слышится:

— Осадить назад и на набережную.

— Энергично действовать.

Нам преградили путь, нас тесняет, нас выжимают на площадь Финляндского вокзала, нас не пускают к Литейному мосту. Здесь нас было тысяч 15, остальных задержали на Тихвинской улице, на Арсенальной, и на Безбородкином проспекте, так нам сообщили товарищи, пробравшиеся через Куликово поле и католическое кладбище с Арсенальной улицы, в числе тысяч двух человек. Они же нам сообщили, что жандармы стегают здорово, городовые же не очень. Был отдан приказ отодвинуть нас, вернее сказать, прогнать в Финдляндский переулок, Нижегородскую улицу и на улицу Вилье. Здесь были казаки и подкрепление городовых. Проезжает полицмейстер — узнать что делается, вызывает к себе офицера. В это время рабочие группами по двадцать-тридцать человек проходят между рядами казачьих лошадей. Казаки только улыбаются, для виду покрикивают:

— Куда лезете?

И быстро, но тихо нагайками похлопывают. Опять стали подходить к Симбирской улице, опять:

— Ура! Ура! Привет, привет казакам.

Кроме офицеров, стал командовать и сам Шалфеев — полицмейстер, палач настоящий. Оттеснили нас немного.

На Вокзальной площади несколько вагонов трамвайных стоит: не пройти им ни взад, ни вперед. На вагонных

площадях и на лестнице вокзала разместились сраторы-рабочие. Появились и на тумбах. Поддерживают рабочих речами и призывом к казакам и городовым. Все замолкло и песен не слышно. Все взоры обращены на ораторов и казаков.

— Арестовать смутьянов.

Это кричит полицмейстер. Его приказ казаки выполнять не торопятся. Медленно, медленно двигаются, только рабочих оттесняют лошадьми. В это время подскакивает вестовой с докладом. Полицмейстер что-то приказал офицерам и куда то уехал. Казаки сразу работать перестали и в разговоры с рабочими вступать начали. Тут и я говорю:

— Товарищи, казаки, пожалейте своих братьев, отцов, жен, и сестер. Не бейте голодных и утомленных. Протяните вашу братскую руку...

Отвечают стоящие передо мною три казака:

— Верим вам, товарищи, но что же делать, когда нас самих притесняют. Была в Колпине забастовка, мы были там. Из наших товарищей четырех человек через двадцать четыре часа расстреляли за то, что они к рабочим хорошо отнеслись — тоже не били. Мы не знаем, что нам всем теперь будет...

А сами посматривают, где офицер, а офицер на противоположной стороне площади стоит. Обращаюсь я к ним снова со словами:

— Товарищи, казаки, вы говорите нам, что ваших четырех товарищей казаков расстреляли и что вы такие же невольные, как и рабочие. Верим вам. Так пусть вашим товарищам будет вечная и вечная слава.

В этот момент похоронный марш запеть хотели. Но слышались крики:

— Пускай говорить кончит.

— Верим, товарищи казаки, продолжаю я, что ваших четверых товарищей расстреляли, ну, сколько тысяч рабочих расстреляно, десятки тысяч в тюрьмах, ссылках, каторге. Чтобы больше этого не было, чтобы невинная кровь не лилась, кровь казака, солдата и рабочего, подадим друг другу руку и дадим честное слово, что не будет больше

вражды между нами, сольемся в единую трудовую семью рабочих и крестьян, сбросим гнет, освободимся от порабощения, от капиталистическо-дворянского произвола...

Приблизилось несколько казаков, слушают. Один из казаков в подтверждение моих слов вымолвил:

— Он правду говорит.

Несколько других товарищей тоже призывают казаков и городских, но последних не так скоро убедишь. Время от времени вдоль цепи проезжают два офицера и покрикивают в сторону оратора:

— Перестать говорить, расходись.

Но крики по тону не зловредные, не опасные. Рабочие расспрашивают друг друга:

— Товарищ, знаете, какого это полка казаки?

— Не знаю.

— Кто знает, товарищи рабочие, какого это полка? Донцы?

— Нет, не донцы, донцов я знаю. У них другая форма, это — кубанцы.

— Что ты говоришь, не кубанцы, это оренбургского полка. У них синие шаровары, светло-голубые лампасы.

— Эй, товарищи, кто ближе, спросите у казаков — они скажут.

— Товарищ, слушайте. Товарищи с Арсенальной ул. и Набережной через Неву пошли на Невский.

— Идем. Идем.

— Куда идем?

— Хорошо, пропустим.

Это казак говорит. Подошел в это время поезд пассажирский. Пассажиры с вокзала выходят. Обалдели, не поймут, что такое, хотят пройти, но невозможно.

— Товарищи, пропустите пассажиров.

Их казаки пропустят, а сзади мы пройдем.

Подходят к цепи казаков:

— Господа казаки, мы — пассажиры, пропустите нас.

— Кто вас знает — рабочие вы или пассажиры.

— Смотрите, вот вещи, корзинки...

— Вон, офицер едет: просите у него. Прикажет — пустим.

— Господин офицер, пропустите, мы только что приехали поездом, вот и вещи...

Пение все продолжается. Мои «дочки» тоже просят: пустите и нас, а то замерзнем.

Казаки шутят. Пассажиры в нескольких местах стоят у цепи, упрашивая офицера. В конце концов офицер согласен. Говорит казакам:

— Пропускайте только пассажиров.

Как началась давка.. Хлынули и рабочие.

— Эй, забастовщики, куда идете, не смей.

Но это только крик. А сами не обращают внимания, кто идет — пассажир или рабочий. Как стали сзади нажимать... Прорвали цепь. Казаки ругаются, нагайками машут, а сами в сторону сворачивают. В один момент рабочие всю Нижегородскую улицу заполнили. Опять раздаются голоса:

— Варшавянку.

— Марсельезу.

При входе на мост вновь казачья цепь. Рабочие вновь за старое. Опять живые трибуны, опять:

— Привет казакам. Ура! Ура! Ура!

Опять пение.

Посередине моста полицейская цепь.

Рабочие подошли вплотную к казакам. Гладят руками головы казачьих лошадей.

— Товарищи казаки, пустите.

— Уходи прочь, вам говорят...

Все больше и больше напирают сзади. Наши передние ряды уже в лошадей упираются.

— Уходи прочь...

кричат, а сами смеются. И вдруг в одну сторону на панель собрались.

— Проходите по одному и по два, товарищи.

Начинают проскользать.

— Куда лезете, не смей.

А лошади одна за другой к панели отходят...

Прорываемся.

— Ура! Ура! Ура!...

и казаки впереди едут. Подходим к заставе городской

Те друг на друга поглядывают. Нагайки в руках наготове. Подошли уже близко: сажени четыре между ними и нами. Казаки остановились, смотрят на городских. Впереди конный околодочный, злобный, надрывается кричит:

— Куда идете?

Мы не обращаем внимания, продвигаемся, хотя хорошо знаем сами, что будут нас стегать нагайками. Как только приблизились шагов на восемь, крикнул околодочный:

— Вперед, городовые. Рабочие продвигаются. Вперед.

Городовые, не слушая ни наших призывов, ни наших приветствий, давай нас хлестать нагайками. Как посыпались проклятия:

— Палачи, кровопийцы...

Дальнейшему избиению помешали казаки — вклинились в городских, — и конец. Стали мы группами перебегать с одной стороны, а потом все лавиной. И вот уж весь Литейный проспект заполнен нами до Окружного Суда. И уже на Шпалерной и на Набережной Невы полным полно народу — это те рабочие, что через Неву по льду перешли и поджидают, когда больше соберется. Сразу вся рабочая масса об'единилась. Подходим к гильзовому и орудейному заводам. Кричим:

— Товарищи, кончай работу.

Во всех окнах рабочие, машут руками.

— Кончай, товарищи, кончай, идем вместе хлеба просить. Не можем голодные работать.

И снова раздается «Смело, товарищи, в ногу», и снова:

— Кончай, кончай.

Видим, от окон отошли — наверное, начальник с мастерами гонят.

— Нет, говорит кто то из толпы, наверно одеваются. А, может быть у них собрание.

Слышим снова крики:

— Казаки, жандармы, городовые, конные и пешие идут.

И новый крик:

— Забастовали, забастовали, выходят.

Обернувшись, все смотрят на Шпалерную, на ворота, через которые рабочие на работу ходят. Видим, появляются у главных ворот, выходящих на Литейную. Ворота закрыты.

— Открывай ворота, сторож.

Вскакивает рабочий на тумбу. Начинает говорить речь спокойную, дельную. Рядом со мной говорят.

— Это от нас, хороший товарищ и за каждого заступается.

— Откуда — от вас?

— От Эриксона, с телефонной фабрики...

— А какой партии?

— Никак социалист - революционер.

А тут рядом другой призывает городских и казаков присоединиться к рабочим. Подбежал пристав, стащил его с тумбы — и тащит в сторону. Началась борьба. Видим оборваны у рабочего лацкана на пальто, на подмогу приставу околоточный, ведут в участок.

— Товарищи, товарищи, отобьем.

Бросается несколько человек, хватают за руки, хотя вырвать. Полиция крепко держит. Околоточный ударяет одного из вырывающих, а товарищ его. Пристав отскакивает в сторону, выхватил шашку, вертит над головой, чтобы рабочие ближе не подошли. Выручили таки товарища. Сколько сторожу не кричали, чтобы он ворота открыл — у него все один ответ:

— Нет у меня ключей.

Как набросились городские, как начали бить, но не успели во всю развернуться — казаки, на месте стоя, лошадей задержали, заволновались. Городские опешили и прочь от ворот. А в этот момент ворота открылись, — так нажали, что замок вывернули. Пока на Гильзовом заводе освобождали рабочих, другая часть демонстрантов продолжала то же самое на Орудийном заводе, где тоже ворота были закрыты и где также пришлось открывать.

IV НА НЕВСКОМ

— Идем на Невский, идем, идем хлеба просить.

— Товарищи казаки наши спины от проклятых фараонских нагаек избавили, они нас у Гильзового завода, у ворот, постегали бы.

— Эти казаки, наверное, на войне побыли, кое чему научились, увидали, как начальство мошенничает, вспомнили рабочих, требующих над правительством контроля.

Так говорили шедшие сзади меня рабочие, не знаю, с какого завода. Снова слышится речь из толпы — рабочий оратор говорит:

— Настал наш момент, товарищи рабочие. Пришло время, мы должны сделать свое дело. Если теперь прозеваем, когда нашими товарищами стали казаки, раньше за одно слово революционной песни чуть нас не убивавшие...

— Верно, верно, правильно. Правильно.

Раздались аплодисменты.

— ...Выслушайте до конца меня, товарищи...

— Говори, говори.

— Передайте, чтобы на плечи стал — не слышно, что говорит.

— ...Наша святая обязанность, забастовавших рабочих Выборгского района, — идти на Невский. Не для гулянья идти, а притти и встать посреди Невского и громко всем вместе крикнуть, крикнуть работающим товарищам других районов, что мы должны довести до конца наше дело. Это дело начали еще наши деды, его не довели до конца наши отцы, погибавшие на каторге за освобождение трудового народа. Верю в то, что если мы погибнем, то это будут последние наши жертвы. На них построен будет храм Свободы. Расходясь с Невского, мы должны идти не в свои квартиры, а к товарищам, в другие районы. Мы должны им сказать, какое мы дело начали, мы должны им сказать: «Идите с нами, помогите нам, будем вместе строить. К нам сегодня пришли на помощь новые тозарищи — казаки, эти помощники свою силу присоединили к нашим».

В толпе друг друга спрашивают:

— Кто это, какого завода?

— С Металлического завода...

— Какой партии? Меньшевик?

— Нет, это социалист - революционер. Всегда вместе с тов. Шалиным ходит.

— Эта сила не только сильна физически, но сильна и общественно. Ведь, для данного момента вся царско-дворянская свора свою твердую защиту имела в казаках. До этой кровожадной плутократии теперь дойдут вести, что казаки ей изменяют. И поймет она, что приходит конец ее владычеству. Я думаю, что к нам присоединятся не одни казаки в количестве ста человек, быть может, больше присоединится сегодня. Завтра их будет еще больше, ведь те, которые так благородно поступают сегодня, надеются, что, их в этом поддержат остальные казаки. Они, конечно, заручились их поддержкой заранее. Так вот, товарищи рабочие, идите к своим товарищам в другие районы, расскажите им все, что слышали и видели. На этом я и кончаю.

— Браво, браво!

— Верно, верно, товарищ!

— Где же фараоны, проклятые.

— И жандармов не видать сзади!

— А где же наши казаки?

— Слушайте, товарищи-рабочие, не случилось ли чего-нибудь, что никого не видать, ни городских, ни жандармов? Не арестовали ли казаков за их бездеятельность? И полицмейстера не видать.

— Правда, правда.

Пошел взволнованный говор среди рабочих:

— Что же все замолчали? Что же никто не поет? Запевай, товарищи!

— Отречемся от старого мира...

Продвигаемся вперед и вперед по Литейному проспекту.

— Эй, долой, товарищи, с панели. Эй — товарищи, из рабочей молодежи, сходи, сходи, сходи с панели! Прочь от магазина!...

— Эх, красивы мы, наверное, сегодня—кричит один из рабочих — из магазинов то все на нас смотреть вышли.

Это наши товарищи по прилавку смотреть на демонстрацию вышли.

— Товарищи, товарищи, полиция едет!

— Где, где?

И действительно, сзади с Фуртштадской полиция выезжает. Рабочую толпу охватывает волнение. Слышим голос:

— Товарищи, если полиция будет не пускать на Невский и стегать, то расходись все по разным улицам и собирайся все на Знаменскую площадь....

— Нет, лучше к Гостиному двору...

Большинство кричит:

— На Знаменскую, на Знаменскую!

А сзади уже слышим злобную ругань по адресу полиции и крики: — смотрите, как начали стегать!

Рядом со мной рабочий говорит:

— Нам не привыкать, видимо новые городовые прибили.

Из хвоста передают, что многим товарищам поранили головы и что командует полицейским отрядом полицеймейстер Рождественской части, известный разбойник.

— Что ж делать! Бьют так бьют. Будет и им отплачено за все, настанет этот момент, товарищи!

Мы уже подошли к Пантелеймоновской улице и как полиция нас не бьет, а настроение у нас бодрое. Поем и приветствуем стоящих на панелях и вышедших на нас смотреть из лавок и домов. Из толпы нашей машут красными платками и с панели нам тем же самым отвечают.

— Эй, товарищи, смотри! Полиция впереди нас выезжает с Самсониевской улицы! Поворачивай, товарищи, на Спасскую! и по Знаменской...

— Не ходи, не ходи туда, скажут, побоялись.

— Хуже будет, там захватят полицейские, по Литейному нельзя пройти и бить там будут.

— Идем, кто куда может.

— Товарищи, кричит один рабочий, как будем близко подходить к городовым, так — кто песню пой, кто приветствуй, кто с призывом.

Все ближе и ближе подходим, видим, тройная цепь

полицейских от Бассейной через Литейный к Семеновской. Подошли близко. Начались приветствия, песни за пели, опять живые трибуны. Все напрасно:

— Перестань петь! Прохвосты! Стервецы!

— Расходись, иначе арестую...

Мы ко всему этому привыкли. Остановились, чтобы товарищи - ораторы могли заговорить. Поднимаются ораторы один за другим на плечи, призывают. Все напрасно.

— Расходись, кричит не то пристав, не то помощник Городовые, разогнать, арестовать агитаторов.

Бросается одна цепь на насъ, арестовать хочет говоривших, но не может пробиться через рабочих, как зарабатывают нагайки.. Здорово некоторым попало. Началась давка.

— Вперед, товарищи, вперед.

Пробиваемся через первую цепь. Пристав командует и остальным двум цепям, первая цепь уже среди рабочих, бьют направо и налево нагайками. Бросаются на нас и остальные. Вот тут - то — никогда я этого не забуду. Хотел я меж двух лошадей пробраться, как стеганет один фараон меня по спине, чуть было не упал я, так в жар и бросило. Пробежал вперед, чувствую спина в огне горит. пробиваются товарищи вперед, полицейские позади остаются. Подходит ко мне рабочий:

— Здорово, вам, говорит товарищ, попало! Пальто-то как пробито.

— Ну, что-ж делать. На то борьба и революция.

— Идем, идем, идем!

— Идем на Невский!

— Не торопитесь, товарищи, итти, посмотрим, удастся ли товарищам прорвать цепи.

Только и видим, как руки в воздухе летают, в разные стороны, руки с нагайками.

— Нет, товарищи, не удастся им вперед пройти, там много городских, они ведь не казаки, которые только нагайками машут, а не бьют.

Нас все-таки много проскочило, тысячи при человек, пожалуй, даже и больше. Хотя многим и попало, но мы

все же победили, с трудом, но прошли. Одному товарищу с завода Парвияйнена голову пробили, другому руку покaleчили. Повели в аптеку перевязывать.

— А вот, там товарищ стоит! Ему тоже попало. Поглядите, пальто лопнуло

Это на меня то показывают, спрашивают, как я себя чувствую.

— Очень больно, что-ж делать, не мне одному влетело, а и другим, а все же наша победа.

— Запевайте, товарищи!

И снова — смело, товарищи в ногу...

— Товарищи, смотрите, как фараоны стегают!

Это вблизи Бассейной свалка происходит.

— Ура, ура, ура, и порывается полицейский фронт.

— Наши позицию взяли.

Подходят к нам. Мы поем «Варшавянку», они запели «марсельезу». Из нашей группы кричат: «товарищи, наша взяла».

Соединились, расспрашиваем друг друга, кому как попало. Подошедшие рассказывают, что трех фараонов стащили с лошадей и поддали им пару, шашку с одного сорвали с ног сбили. После этого полицейские озверели, призывов и приветствий слушать не хотят, стегают изо всех сил. Сам пристав бил нагайкой рабочих. Полицмейстер все время командовал. Нескольких товарищей пешие городовые арестовали, двум товарищам очень по лицу попало, одному лошадь лицо копытом разбила.

— Идем, товарищи, на Знаменскую площадь; туда наверное, прошло много народу по Баскову переулку и по Знаменской улице.

Идем с песнями. Мои дочери и племянницы все же многочисленны, тоже идут и поют. Перестал я чувствовать жар в спине, холод чувствую. Мороз на улице большой и через разорванное пальто меня всего прохватывает. Холодно. Подходим к Невскому, а там уже пешеходных городовых тьма-тьмушая. Конных пока не видно, наверное где-нибудь в засаде. Ничего, пусть нас бьют городовые, а мы все же начнем с приветствия и призыва... Подходим... Вот, вот, сейчас столкнемся...

— Товарищи, городовые, пожалейте своих братьев, жен и сестер, не бейте, мы не от хорошей жизни бросили работу. Мы голодны и изнурены, не можем работать.

— Привет товарищам городовым!

И уже вне себя кричат пристав с околоточными:

— Назад, куда лезете, арестую!

И мы кричим: вперед, вперед, товарищи! Напирай.

Нас было тут уж тысяч семь. Завязалась посредине улицы борьба. Остановились трамваи. Городовые резиной бьют. Смотрю, схватились пристав и т. Воронков. Видим, ударил пристав Воронкова. Воронков отвечает. Барахтаются, расцепиться не могут. Кинулись мы на выручку, а Воронков уже упал под стоящий трамвай и пристав ухватился за другого. Как налетели мы на пристава, как сбили его с ног и через площадку трамвая на другую сторону.

Пешая полиция так и не удержала нас. Вышли на Невский. Смотрим во все стороны. В направлении Аничковому мосту нет рабочих. Двигаемся на Знаменскую площадь. Туда уже наши товарищи пришли.

И вот, мы идем уже по Невскому. Идем с песнями. Публика идет с нами, но по панелям, с интересом смотрят на нас. Кой-какие из хозяев магазины торопятся закрывать. Подошли к площади, а там уже ораторы из рабочих, ораторствуют. Вскочили на пьедестал памятника Александра III и все о текущем моменте и все на одну и ту же тему, призывают к энергичной работе — революционной, разумеется.

— Всех рабочих других районов оповестить надо. На нашей стороне будет сила. На нашей стороне те, кто был раньше нашим врагом. Наши казаки сознали, что рабочие честно защищают трудящийся класс. Такое же сознание и у солдат. А петроградская полиция для нас не страшна. Разве ее со всей России соберут в Петроград. Но и наши товарищи спать не будут, ни в Москве ни в других городах...

Конно-городовые едут! Жандармы едут! Вон, вон по Лиговской улице от Греческого проспекта!

— Расходись, товарищи, мы свое дело сделали. Сиг-

нал подали товарищам других районов, а тем, которые еще ничего не знают, мы все расскажем. Пойдем к ним, сейчас же. Быстрее, товарищи... И ораторы скрылись в толпу, чтоб там невидно было, куда ушли. И мы начали расходиться. Я почувствовал снова и боль и холод в спине. Не иду, а бегу, чтобы согреться, а также, чтобы скорее рабочим с завода Вестингауза рассказать о делах Выборгского района, о начавшейся забастовке, о сочувствии к нам казаком. Я ведь у Вестингауза долго работал и там у меня почти что все знакомые.

Подойдя к углу Волокаламской и Боровой улиц, я увидел в кооперативной лавке свет в окнах, из дверей выходили приказчики и члены хозяйственной комиссии, в которую входил и я. Постучал в дверь. Слышу:

— Лавка закрыта. Поздно.

Постучал вторично, закричал. Узнали по голосу, открыли и начали бранить, что поздно пришел. Я прервал их разговор и начал подробно рассказывать все, что произошло и закончил словами:

— Настал момент...

Все пришли в недоумение и не хотели верить. Повернулся я к ним спиной:

— Вот, говорю, полицейские исполосовали нагайкой.

Тут все в один голос:

— Здорово!

— Ну, то-то. Идите же по районам, передайте, чтобы завтра все товарищи начинали борьбу, пусть бастуют.

Из лавки пришел домой, стал раздеваться, снял пальто, смотрю, как топором прорубило. Жилет, рубашка, блуза — все лопнуло до спины. Едва-едва стоять можно. Пришел хозяин, позвал к себе, рассказал ему подробно. Не верит и он, что забастовали рабочие и что казаки так сочувствуют.

— Ничего, завтра узнаете сами.

Он был непартийный, но сочувствующий эс-эрам. Попросил его передать товарищам, чтобы проводили забастовку. Напился дома чаю и пошел я в культурную комиссию кооперативных обществ, всегда собиравшуюся в помещении петроградского отделения комитета ссудо-сбе-

регательных кооперативных товариществ и кооперативных обществ на Жуковской улице дом № 38. Приехал я на Жуковскую, а там уже собрались с-рев. Е. С. Евреинова, С. Д. Масловский (С. Мстиславский), д-р Хейсин, меньшевик. Стою молча, а спина горит, чувствую боль адскую. Евреинова спрашивает:

— Что это вы, товарищ, сегодня такой нервный?

— А разве вы ничего не знаете?

— А что?

Начинаю рассказывать, что забастовал Выборгский район, что были большие столкновения с полицией и что, хоть стегала она рабочих, но победа за нами останется, потому что казаки не такие, как в 906-9 г. г., что сегодня они ни одного рабочего не ударили...

Не верит мне никто:

— Что вы смеетесь, или вам во сне приснилось?

— Нет, не смеюсь и во сне не снилось, а говорю правду. Передайте все, что я вам рассказал вашим знакомым, а с Выборгского района из рабочих никто сегодня на заседание не придет, там у нас пленарное собрание соц-рев. и соц-демократов. Я для того сюда и пришел, чтобы вы рассказывали приходящим товарищам из других районов, что произошло и чтобы они казаков не боялись...

Не успел я окончить, как раздался звонок, и входит рабочий Попов, большевик с василеостровского района, вслед за ним вошел товарищ Васильев, эс-эр, из Московского района, тоже рабочий. Как по обыкновению, начались расспросы. Не успел я и рта открыть, а Васильев уже рассказывает о том, что Выборгский район, якобы, забастовал. Ну, тут я подробно все изложил. Им сперва, как будто, не верилось, что казаки рабочим сочувствуют, не бьют.

— Даю вам честное слово, так было. Мы все время с ними разговаривали, даже офицеры не били.

В это время подошли и еще товарищи и с Песковского района, с завода Шпигеля. Эти уже все знают:

— Товарищи, сегодня никакого заседания не будет. Не время культурой заниматься в данный момент, когда революция на носу, когда баррикады надо строить.

— Да, верно, товарищи, поезжайте, пока не поздно, в отделения союзов и по отдельным товарищам, предупредите всех.

Я первый ухажу. Пришел домой к одиннадцати вечера. Хозяин ждет меня, не спит еще. Как только я вошел, сказал мне, что разыскал квартиру товарища и обо всем подробно его осведомил.

— Он потом дважды к вам приходил, все вас дома не было, сказывал, что уже всех своих товарищей оповестил по партии, а также и соц.-демократов.

Ложусь спать, но не спится по двум причинам: во первых, волнуюсь о том, что завтра другие районы по неполной осведомленности не выступят, а во вторых, потому, что спина болит, не притронешься к ней.

V. НА ЗАВОДЕ.

Вышел на работу в половине шестого, раньше, чем в другие дни. Вижу, и городовые выезжают и прямо во двор дома Дурняхина, для того, чтобы рабочие не видели — напротив завод Вестингауза.

Сажусь в трамвай, еду. По утрам одни рабочие ездят, слышу, вполголоса говорят о вчерашней нашей забастовке. Я сейчас же к ним.

— Где вы, товарищи, работаете?

Они посмотрели на меня и как то стушевались.

— Не бойтесь, товарищи, я работаю в арсенале на Выборгской, все, что вы говорите — правда. Скажите, с какого вы завода то?

— С Геслера

— Знаете ли вы такого то товарища?

Оказалось, знают.

— Передайте ему, что Марков просит бастовать и вы поддержите. Начал им рассказывать. Рассказывал пока не доехал до места. Простился с ними. Подхожу к заводу, а там уже товарищи стоят: Воронков, Иванов, Кисляков, Оболенихин, Потапов и др. социалисты-революционеры, забыл, к сожалению, их фамилии, забыл и фамилии меньшевиков, хоть и мало у нас их было на заводе, но все не-

сколько человек было, и из большевиков были — Денисов, Бурцев, Антонов. Спрашиваю их, что нового, не было ли арестов? Воронков рассказал, что в Военно-Промышленный Комитет приходила полиция, накрыла заседание, составила протокол, допрашивала, что за заседание, на что ей было отвечено, что это заседание рабочей секции Военно-Промышленного Комитета и, действительно, перед каждым лежала повестка заседания. Полиция, говорит Воронков, спрашивала — а не Совет ли Рабочих Депутатов?

Фактически то это и был уже Совет Рабочих Депутатов, самими рабочими еще без указания партийных центров составлявшийся, но на его заседание не успели прийти все делегаты от районов, особенно от Выборгского — этим только и спаслись от ареста.

Стоим и разговариваем мы о том, что если товарищи из других районов нас не поддержат, угодим мы в дисциплинарный батальон.

— Нечего бояться, говорит товарищ Иванов, я был в Петроградском районе и когда все подробно рассказал, все рабочие воодушевились и очень были довольны казаками. Лучше давайте поговорим о нашем заводе, как бы некоторые рабочие не перестали протестовать из-за того, что вчера другие районы работали.

Все больше и больше подходит рабочих.

— Нет, товарищ, отвечает Яковлев, противников не будет, но мы должны приложить все силы и во что бы то ни стало мобилизовать всех, чтобы не приступали к работам...

Слышатся голоса:

— За свою мастерскую ручаемся. Все забастуют дружно... Это говорили Оболенхин, Денисов и Самодуров.

— И Литейная не подгадит. Все как один, разве человек десять - двадцать не пойдут.

— Ну, это пустяк, всех литейщиков триста пятьдесят человек.

— Все силы направить на Лафетную мастерскую. Там много учетников.

— Мы поможем жестянницкой мастерской.

— Дружно, товарищи, надо итти по мастерским, уже время — без двадцати семь.

Мы втроем, Самодуров, Денисов и я, вошли в мастерскую. Начальник и старший уже ходят по мастерской. Но рабочие сегодня на них не обращают никакого внимания, сгруппировались в две группы. Настроение бодрое.

— Смотрите, как начальник сердито смотрит.

А товарищ Петров отвечает:

— А когда помещик на крестьянина весело смотрит? Он ведь из Новгородской губ., крупный помещик

Семь часов. Свисток. Никто не расходится.

— Начинай работать!

Это мастер кричит. Отвечают несколько голосов разом:

— Как же нам одним начинать. Нужно узнать, как другие мастерские, будут ли работать?

Кричит начальник:

— Вам до других мастерских дела нет, начинай работать!

— Да, начни работать, а из других мастерских придут, да болтом по башке.

— Пошлем, товарищи, старосту по другим мастерским узнать, работают ли.

— Да, да лучше пошлем, пусть узнает, а то начальник скажет, что сами не хотим.

— Петров, иди узнай поскорее.

Петров *) был старостой, для отвода глаз говорит:

— Да стоит ли итти. Будем работать.

— Иди, иди. Коли посылают, так иди.

Петров пойдет в другую мастерскую и скажет, что у нас все уже оделись. Через десять-пятнадцать минут идет быстро обратно.

— Ну, что?

— Шорная, колесная, малярная уже домой пошли.

» Эй, товарищи, одевайтесь! Пошли!

Оделись, расходимся. Начальник вдогонку словечки пускает.

— Идите, идите, потом с вами поговорим.

*) М. П. Петров старый член партии соц. - революционеров, хороший работник, — Кооператор.

На этот раз все вышли.

— Товарищи, запевай.

— Где наш запевай?

Воронов мне говорит — запевай.

— Вихри враждебные...

Смотрим — кузнечная мастерская стоит, ожидает нас и тоже поет. Идем дальше. Сегодня у ворот нет Дыхова. Ну, и черт с ним, чего его вчера пугались. Сегодня настроение революционное — это казаки воодушевили нас. Подходим к воротам, рабочие Металлического завода и Феникс стоят, ждут нас. Арсенальцы спрашивают фениксовцев и металлистов, как у них дела, все ли бастуют.

— Все, все. И коридовцы и баванерцы дружно тоже вышли.

— Вот, у нас сосед с завода Розенкранца, настоящее мертвое кладбище, каждый раз надо далкой выгонять. А сегодня третья часть бастует. Наши и коридовцы пошли снимать работающих.

— Надо их подождать. Надо подождать.

Полицейские почему то никого нас не трогают, только покрикивают: расходишь, расходишь.

А им в ответ:

— Запевай, запевай.

А мои дочки и племянницы уже собрались и обо мне спрашивают.

— Эй, товарищ, вас спрашивают.

— Я здесь.

Пробираются ко мне. Подходят наши остальные.

— Ну что, сняли с работы у Розенкранца?

— Сняли, сняли, сняли!

— Некоторые прятаться по углам стади. Мы всех вы проводили, говорили им, уходите домой по-добру по-здорову, но они все-таки с нами пришли.

— На Невский, товарищи! На Невский

Запели Варшавянку. Подходим к Тихвинской улице, смотрим, выходят из Патронного и с Прометей рабочие с песнями.

VI. ПЕРВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ.

— Эх, как дружно товарищи вышли сегодня с завода Полустровского района, как по телефону. Идем по Симбирской улице, полиция чуть позади за нами.

— Шибче иди, шибче иди — кричат сзади товарищи. Полиция на Нижегородской улице.

— Так мы ее и испугались, чать не впервой встречаем. Рабочие настроены очень революционно, планы у всех самые широкие. Осуществим ли?

— Что-то сегодня товарищей-казков не видать, верно, спохватились, что ненадежны.

Подшли к Нижегородской улице. Тут не так то свободно идти — две цепи городских стоит и пристав или помощник кричит:

— Расходись, не подпущу. По-добру не разойдетесь, разгону силбй.

Среди рабочих пошел говор, что полиция сегодня не злая, просит разойтись.

— Да, это пока мы спокойно стоим, только попробуй двинуться, нагайку получишь.

Сзади все время песни поют: Варшавянку, «смело товарищи в ногу», платочками белыми и красными машут — по лицу приветствуют. Послышался голос:

— Что же мы, товарищи, стоим, идем вперед.

И сразу же:

— Вперед, вперед, вперед.

Видим пристав что то говорит околоточному. Выезжают несколько городских и с околоточным галлопом по Нижегородской и улице Вилье. Им вслед вся остальная полиция гаядит. Именно в этот момент двинулись передовые ряды и поднялся крик: вперед, вперед. Пристав от крика как будто растерялся, но сейчас же опомнился.

— Расходись — орет, городской, осадил их.

Городовые моментально принялись теснить, но прогнать на Симбирскую улицу не смогли. Нагайками же работают как будто тише вчерешнего. Слышим, с улицы Вилье и Нижегородской крик и визг — это полиция и мастер

расправляется с товарищами рабочими из Чернорецкого района. На Литейном мосту стоят казаки.

— Между улицей Вилье и Симбирской рабочим здорово попало и конца не было видно, когда кончится избивание, да неожиданно выручили товарищи из Полюстрэвского района, прошли через двор Финдляндского вокзала на небережную Невы, к мосту Литейному. Рабочие Чернорецкого района с ними и к нам на Нижегородскую с криком «ура». Почему то фараоны растерялись и бить перестали. Из Симбирской улицы быстро стали выходить на Нижегородскую. Итти невозможно вперед.

— Палачи, кровопийцы, что вы голодного рабочего истязаете!

Едет полицмейстер, расчищая себе дорогу. Это его приветствуют. Ехал в это время извозчик с дровами, захлестнуло его волной рабочих, пришлось остановиться, а на возу поленья девяти четвертовые. Полицмейстер едет, нагайками путь расчищает. Поравнялся с возом. Как схватит один из товарищей с воза полено, не успел полицмейстер оглянуться, как дал ему товарищ по голове. Увязла вся шапка в голову. Поднялся сплошной крик.

— Ура, ура, ура!

Это и началась революция.

После расправы с полицмейстером — он тут же на месте и умер — у рабочих такой революционный подъем, что и боль не чувствуют, а у многих к тому времени головы уже были в крови.

Смотрим, фараоны кобура пооткрывали, к стрельбе готовятся.

— Идем товарищи, на Невский, идем.

И пошли. Спереди, сзади, отовсюду поют, даже не понять, откуда слышно. И впереди «ура», «ура», «ура», кричат—казаков—товарищей приветствуют. На мосту трамваи остановились и не пройти, стоят конно-полицейские. Мы подошли вплотную к казакам, пение и приветствие все продолжается. Мы подошли, что-то говорят, а что не понять. Далеко. И нагайками грозят, а позади полицейские стоят и не бьют, верно на них убийство полицмейстера подействовало. Слышим крик казачий:

— Не напирай!

А два офицера даже ударяют нагайками. Но по всему видно, что замах то у них не полицейский, слабый. Все чаще и чаще голоса: Не напирай, куда прете! И в момент казачья цепь прорвана, не силой, казаки сами отошли в сторону.

Приветствуем казаков. Почему то они сегодня не стесняются офицеров и открыто нам отвечают. И радостные у них лица и улыбки. Видим с Пироговской набережной подходят еще рабочие, те, что с улицы Вилье кругом обходили, передают веселую весть, что весь Петроградский район дружно забастовал и все рабочие собрались на Большом проспекте и дружно идут на Невский, но полиция их не щадит, и бьет.

— Ничего, придет час расплаты.

Раздается юркий голос наыстречу подошедшим:

— А вы знаете, товарищи, мы одного палача убили.

— Кого?

— Полицмейстера.

— Туда ему и дорога, кровопийце.

Идем по мосту, обернулся я, посмотрел назад, на Нижегородскую — сплошной стеной идут. И идут и идут. Мелькнула у меня мысль — это идет трудовой пролетариат в последний бой, чтобы сбросить оковы рабства...

Мы продолжаем идти и вновь началось избивание. Тут рабочие, в таких боях еще не бывавшие, начали через вагонные площадки на другую сторону выбегать, но их было немного. Вступили мы в рукопашную. Многих городских постаскивали с лошадей и тут же им, как у нас говорится, рецепт прописали, а кому прописали, тот на следующий день рабочих стегать не будет. Пробили таки путь себе на Литейный проспект, но не успело нас выйти более четырех — пяти тысяч, как со Шпалерной улицы эскадрон жандармский мчится, галопом, галопом и в нашу толпу врывается. Как начали нас бить плашмя шашками и нагайками... Перерезали путь в город. Больше всего досталось тем из нас, что сошли с моста, за ними здорово поганялась жандармерия. Тут и я подумал, что мне больше не придется жить на свете — бросился на меня

жандарм с обнаженной шашкой, замахнулся. — Вот, вот голова, голова! разлетится! Только тем и спасся, что с набережной через перила на лед прыгнул в Неву. Жандармская шашка с дязгом о перила ударилась, и перила сломались. На мосту городовые тоже перестали звать. Бить начали, не щадя, а тут еще на подмогу прискакало конно-гвардейцев человек пятьдесят, совсем загородили путь в город, т. е. на Невский. Все это происходило перед квартирой генерала Хабалова, главнокомандующего Петроградским военным округом.

Рабочие видят, что невозможно пройти по мосту, пошли по льду. Врасыпную пошли на Невский и через час все уже перешли и разными улицами собрались

Сегодня со всех районов Петрограда собрались рабочие, скопились на Невском и на Знаменской площади, даже из Колпина тысячи полторы подошли и все получались и получались радостные сведения, что во всех районах забастовка дружно прошла. По рассказам, больше всего били сегодня рабочих Выборгского и Невского районов.

На Невском бить уже не могли, потому что рабочие легко могли уйти в смежные улицы. Весь Невский был занят рабочими. Показали мы свою армию. На всех перекрестках речи произносятся, все рабочие ораторы. А pedestal памятника Александра III превращен в общую петроградскую трибуну для рабочих.

Рабочих много было, но и опричников не мало: и конно-полицейские, и жандармы, и конно-гвардейцы, и казаки. Но казаков рабочие считают своими товарищами, потому, что они и в других районах не били рабочих, да и конногвардейцы не очень избивали. Пешая полиция, почему-то все в засадах сидела, да арестованных сопровождала. Арестов произведено было много.

Потом стала подходить и унылая молодежь. До сих пор только рабочие выступали. Демонстрации переходили с места на место: со Знаменской площади к Казанскому собору, от собора к Александровскому саду и опять обратно. Полицейскую свору тревожили красные флаги, то в одном, то в другом месте взываются и лозунги

«демократическая республика», «ответственность правительства перед народом». К вечеру конные городовые были вооружены винтовками, а Знаменская площадь занята солдатами. Аресты и избиения не прекращались. Побежали слухи, что расставлены по чердакам пулеметы и в демонстрациях будут стрелять.

Повстречался я с Воронковым, говорит мне — вы живы, товарищ? А я думал, что зарубили вас на улице у моста, когда за вами жандарм гнался.

Рассказал ему, как спаялся.

— Ну, долго же проживёте.

Идем по Невскому вместе, встречаем знакомых рабочих с Путиловского завода, среди них два незнакомых, познакомились с ними.

— Это наши социалисты-революционеры с химического завода. Один из товарищей пригласил нас всех попить чаю, целый день ведь ничего не ели, а за чаем ведь можно и поговорить о том, как дальше быть и что делать.

— Ладно, а куда пойдём.

— Да вот в Чернышевском переулке есть чистая столовая.

— Ну да, против этой столовой постоянно шники, да городовые, лучше пойдём на Фонтанку, неподалёку от Александринского театра.

Пришли. Сели все за один стол. Начали нас расспрашивать путиловцы, как проходит забастовка в Выборгском районе, какой завод первым начал, какие планы на дальнейшее. Я рассказал, как первый вышел завод Айваза в Лесном, как быстро вспыхнула забастовка и как весь Выборгский район в половине четвертого уже весь вышел на Невский.

— А правда ли нам говорили, что казаки не били нагайками рабочих.

Я с товарищем Воронковым в один голос:

— Да, да, товарищи, верно. Они то нам всем и подняли настроение и революционный дух. Они нас даже защищали. Фараоны и жандармерия здорово временими стегали, но и некоторым из них поднесли, а сегодня

на Нижегородской полицмейстера уколошил один товарищ, как его звать, не знаю. Столько нам революционной силы придали казаки, что мы никакого внимания не обращали на полицию.

На этом разговор о Выборгском районе кончился. Спрашиваем в свою очередь путиловцев, оказывается у них о забастовке узнали около восьми часов вечера в районном отделении профессионального союза, куда приехал один товарищ из правления союза.

Он нам говорил, что вы забастовали и очень просил нас, что бы мы приняли все меры и выступили и поддержали выборжцев.

— Мы победим, сказал он напоследок, кончайте работы во всех отделениях и идите по товарищам сообщайте, я же еду в Московский район сообщать.

Товарищи тентелевцы рассказали, что к ним два товарища пришло в больничную кассу правления и сообщили, что Выборгский район выступил на борьбу, что казаки очень сочувствуют рабочим — ни один казак не ударил рабочего и т. д. и т. д. Все находившиеся в правлении больничной кассы не могли поверить, как это так казаки на стороне рабочих.

— Что вы обалдели, когда же это было, чтобы казаки не били.

А нам ответили:

— Сегодня.

— Что же, вы сами были на Выборгской?

— Ну да, я сам участвовал, я работаю на Патронном на Тихвинской.

В результате этого разговора один из путиловцев заявил:

— Завтра субботний день, легко будет нам передовикам, все будут согласны бастовать, тем более, что сегодня все так революционно настроены.

Другой из товарищей посмотрел на часы:

— Пятый час уже, долго засиделись, идемте.

По дороге на Невский я условился с товарищем Всроковым, что не приду на завод. С Боровой улицы идти далеко, а трамваи не ходят. Мы условились встретиться у Ка-

занского собора, если, конечно, возможно будет пройти. Воронков сказал, что будет звать всех передовых товарищей итти вместе, чтобы в случае, если кого ранят или убьют, свои знали. Подходим к Александринскому театру, слышим пение интернационала и «варшавянки», приближаемся к Невскому, видим красные флаги с надписями какими то. И весь Невский полон рабочих, как сукном черным покрыт. Один из товарищей тентелевцев говорит.

— Товарищи, что если бы эта армия рабочих была вооружена винтовками? Городовые и жандармы не то, что бить, носу показать не посмели бы.

— Этот момент, товарищ, не за горами. Все будут вооружены, кто того пожелает.

Присоединяемся к демонстрирующим. Я запел:

«Смело товарищи в ногу».

Слышим, раздаются крики: товарищи, городовые по Фонтанке едут, надо расходиться.

— Нет, нет не расходитесь, товарищи!

— Идем на Знаменскую площадь.

Но уже врезаются в толпу, но уже начинается расправа, не то, что расправа, а экзекуция настоящая. Приостановили общее шествие, стали тсенить одну часть по Садовой улице, другую к Николаевской ул. Слышим голос:

— Товарищи, сзади солдаты едут конные по Садовой.

— Вот, теперь попали в переплет, между двух огней, между городовых и солдат, пропишут они нам по спине...

— Не будем товарищи, трусами, докажем свою храбрость, идем смело к солдатам с приветствием и речами, мы ведь еще не знаем, будут они нас бить или нет, может быть так же поступят, как и казаки, не бойтесь раньше времени.

— Так призывал толпу рабочих. Наши ряды уже прошли Садовую.

Раздаются возгласы:

— Ближе, ближе, товарищи.

Ох, как шибко едут солдаты. Все рабочие в ожидании, и волнении, — вот-вот начнется бойня, а избавиться невозможно, в демонстрацию упираются уже солдаты.

— Расходись по-хорошему! Перестать петь!

... Кричит офицер, что-то говорит, машет рукой. — Дает приказ солдатам рассеять демонстрантов. Из нашей среды слышны фразы призывных речей. По команде офицера солдаты пустили в ход свои нагайки, но сразу стало заметно, что не так то охотно ишибно бьют, как взять хотя бы те же года, 6-7 и 8-ой. Среди рабочих говорили:

— А ведь, и солдаты не такие злые, как раньше.

— Пой песню, чтоб отвлечь часть солдат сюда.

— Верно, верно.

... Какого полка? спрашиваем друг друга.

Никто не знает. Ясно только, что не Петроградского гарнизона.

Хотя медленно, но на Невский вышли. Около Каванского собора путь тоже преградили или солдаты или жандармы, чтобы разбить по частям демонстрацию и очистить Невский от рабочих. Часть демонстрации направилась к Николаевскому вокзалу на Знаменскую площадь, начали нас вытеснять на боковые улицы и снова полицейские и жандармы бьют нас, как попало. Говорят в толпе, что очень сильно избили рабочих на углу Караванной и Невского. Там демонстрантов взяли с двух сторон. Ясно, что пройти негде. Тогда пошли обратно с Гостинного двора с криками «ура» и песнями, чтобы этим отвлечь городских от Караванной ул. Конные солдаты не пускают, но не бьют и только тогда входят пускают нагайки, когда рабочие через чур наирают, но бьют не так, как полицейские или жандармы.

— Ох, товарищи — солдаты, кого же вы бьете? Своих братьев, отцов, жен, сестер и товарищей рабочих, измученных, голодных, а помните ли, как вы сами рабочими были, пока не одели вас в шинели. Помните, как вас били как вам самим плохо было. А теперь своего брата-рабочего стали не признавать. Помните товарищи-солдаты, что через три-четыре года вы теми же рабочими станете, на заводы и фабрики или в деревню вернетесь и как вам со-вестно будет, когда скажут вам рабочие: — вы нас били, а теперь такими же, как мы угнетенными и ободранными рабочими стали и ваши отцы-крестьяне в деревнях задавлены царскими чиновниками, последнюю корову продают,

что бы помещику за землю уплатить. Не слушайте тех, кто вас учит и поворачит, что рабочий ваш враг, протяните вашу братскую руку рабочим и будем единой братской семьей пролетариата и крестьянства.

Так говорит рабочий Обуховского завода, какой партии и как его фамилия — я не знаю. В это время старший офицер из себя выходил, злился, что его не слушают и что оратора трудно было арестовать — он был далеко в толпе рабочих.

Эти речи заметно воздействовали на солдат. Когда офицер тут — били рабочих, а как куда отвернется — нагайки тише работают. А то и совсем не работают.

Это был первый призыв к солдатам, казаки не в счет — они уже товарищами стали.

Пошел по рабочей толпе говор:

— Распространяйте дальше: при встрече с солдатами с речами призывными выступать и с приветствием — товарищи. Это на солдат влияет.

Против Аничкова дворца и Екатерининского сада весь Невский был очищен от рабочих. Сколько на нем свалившихся галош и шапок!

У Казанского же собора, на площади, грандиозный митинг. Рабочих там было тысяч под сорок пять. Тут уже выступало не мало и из интеллигенции. Среди ораторов появились и женщины.

В это время жандармы и городовые начали вокруг митинга кольца образовывать — для ареста ораторов, под руководством полицмейстера и полковника. Солдаты вели дело вяло. Но все же невооруженным рабочим не выдержать было напора многочисленной пешей полиции, и пришлось в рассыпную уходить, в два лишь выхода — на Казанскую и по Екатерининскому каналу. Но там начались столкновения с пешей полицией, пустившей шашки в ход плашмя. Прорывались у Городской Думы. Но на этот раз арестовали многих, многих избили.

Во время побоища рабочие кричали:

— Опять 9-ое января хотите устроить!

Боковыми улицами двинулись к Знаменской площади. Вновь стали собираться толпы у Александровского сада,

на Казанской площади, у улицы Гоголя, у Аничкина дворца. Никаким боем революционного настроения рабочих убить не удавалось. Этому очень способствовало пассивное поведение солдат.

Весь день ходили по Невскому из конца в конец, но всего оживленнее были Казанская площадь, угол Литейного и Невского. Там главным образом происходили митинги.

К вечеру Знаменская и Казанская площади были заняты солдатами. Казаки опять стали разгонять рабочих.

Те ли это, или не те казаки?

— Не те, говорят одни.

— Почему?

— А форма другая, разве не видите?

— Товарищи, просим вас ласково относиться ко всем солдатам, приветствовать солдат.

— Хорошо, хорошо.

— Мы уговорились с группой товарищей пройти на Знаменскую, но на Невский никак скоро не пройти — полно народу, городских и жандармов.

Пошли окольными улицами. Пришли, видим пехота с винтовками, против Северной гостиницы Балабинской и Лиговской ул. Два офицера с пешей и конной полицией не дают собираться вокруг памятника. Только и слышно:

— Расходись, расходись!

— Не допустим. Арестовать проходимцев — кричит злобно пристав. Околоточные и фараоны не пускают, а рабочие и студенты все пытаются подойти к памятнику. Трудно — пущены в ход нагайки и резины.

— Палачи, кровопийцы! не напились за день рабочей крови, еще добавить хотите.

— Товарищи, начинай Марсельезу.

— Верно, надо фараонов повеселить.

— Они революционных песен боятся, как черт ладану.

Пока мы пробираемся, сзади поют. Как только зашли, слышим:

— Замолчать мерзавцы, хулиганы!

— Вы сами хуже хулиганов. Палачи, кровопийцы.

Не успел приказать пристав, как бросились городовые в нагайки! Как начали уходить рабочие по Знаменской и по Лиговской улицам, по Жуковской и по Невскому!

Намучались за день демонстранты. Пора по квартирам расходиться. Я тоже пошел домой. По дороге встретился знакомый товарищи с завода Вестингауза, тоже домой хочет. Было часов около 7 вечера. Только хотели свернуть на Николаевскую, говорит один из нас:

— Идем на Литейную, там товарищи-ораторы.

Пошли. Подходим. Здесь разгоняют казаки, но уже не те, что вчера. У тех были желтые лампасы. Винтовки за плечами, стегают нагайками, но видно, что ударяют тихо. Ораторы же призывают казаков к братству. По лицам видно, что ораторы интеллигенты — двое мужчин и женщина. Говорят очень понятно, и все слова как раз по адресу — призыв к казакам.

Офицер кричит:

— Перестать вести агитацию! Арестую, если не перестанете ораторствовать и не разойдетесь.

Но по тону крика чувствуется незлобливость. И казаки без всякого желания «разгоняют».

— Товарищи! Фараоны! Фараоны едут по Литейному.

Все стали по немного расходиться. Я тоже хотел пораньше уйти домой, очень уже спина болела от вчерашней полицейской нагайки, но как то все забывалось, то увлечешься ораторами, то песнями, а то ненавистью к городовым и жандармам за избиение рабочих. Идем все вместе, говорим о завтрашнем дне, уславливаемся выйти часам к 9 утра на демонстрацию.

Вернулся к себе. Хозяин спрашивает, где больше участвовало в демонстрациях.

— Везде.

Предложил чаю напиться. Тут я только почувствовал, как устал и как заморозился, да и в тепле боль спины дала себя знать.

Иван Марков.

(Окончание следует)

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

(Февральская Революция)

Десять лет исполнилось со дня падения самодержавия! Первое десятилетие февраля, начала великой русской революции, еще не получившей своего завершения, еще не давшей всего размаха своей творческой стихии. Но по каким бы путям ни пошла она, 26 февраля 1917 года останется огненными буквами начертанной датой величайшего исторического перелома.

Крушение векового здания, романовской империи знаменовало крутой поворот в судьбах народов, над которыми царил двуглавый орел. Но это событие — освобождение поработенных масс на необъятном пространстве одной пятой земного шара не укладывается ни в какие национальные рамки. Оно не брну лишь Россию с грохотом вытолкнуло навсегда из старой колеи. Оно лишило самой могучей опоры все силы прошлого в мире и открыло новый громадный плацдарм для борьбы за будущее. На улицах революционного Петрограда начиналась новая глава истории не только России, но и Европы, но и Азии.

Тогда в февральские дни человечество быть может не столько появилось разумом, сколько ощутило инстинктом, что свершилось нечто великое, накладывающее свою неизгладимую печать на всю грядущую эпоху. Теперь, когда ряд тяжелых годов отделяет нас от тех дней, годов наполненных бедствиями, катастрофами, национальными и социальными конвульсиями, схватками между цепляющимся за жизнь старым и в муках рождающимся новым, это ощущение ослабело и затонуло. Своим истинную оценку, выявляющую ее величие и огромность произведенного ею мирового сдвига, февральская революция должна еще только получить, и она несомненно рано или поздно его получит.

В России, сумевшей одним революционным порывом снести без остатка царский режим и все его основы, первое десятилетие февраля не будет ознаменовано великим всенародным праздни-

лом, ликованием масс: радостно вспоминающих светлый день освобождения. И большевистские власти, столь пидкие до официальных торжеств и парадов, вряд ли отметят его даже сколько-нибудь внушительным казенным праздником.

Большевики не любят февраля и настойчиво отодвигают в тень эту неприятную им дату. Для них, — или вернее в этом хотят убедить они современников и будущие поколения, октябрь — начало настоящей русской революции, а февраль лишь предверие ее, лишь слабый пролог грозного революционного действия, в котором им принадлежат все главные роли. Связанные с октябрем, они его объявляют началом нового бытия России, от него ведут революционное исчисление, чтобы присвоить себе целиком всю русскую революцию. Опа, однако, началась не в пасмурные октябрьские дни, в оглушительной и смутной стране, а в ясные морозные дни февраля, при всеобщем радостном и могучем подъеме всего народа.

Февраль — революция, ибо в феврале распались скрепы самодержавия и вместе с их распадом в один миг сломалась сила господства и сопротивления классов, командовавших в царской России, а русский народ сразу стал хозяином своей жизни. Бомбы и баррикады, уличные бои и груды трупов, — еще не революция. Революция — изменение соотношения социальных сил, лишшающее власти те слои, которые до того занимали командные позиции в государстве. Это решающее изменение соотношения сил совершилось в феврале, и все дальнейшие революционные события разворачивались уже на фоне, им созданном.

Как бы бурны и даже кровавы они ни были, они явились уже только продолжением революции, последствиями ею порожденными и могли отмечать лишь ее этапы и фазы, но не более. Так и французская революция: события более грозные и трагические, чем взятие Бастилии. Но ни 10-е августа, ни казнь короля, ни разгром жирондистов, ни победа Робеспьера, не покрывают и не покрывают собою 14-е июля 1789 года. История увековечила именно эту дату, потому что взятие Бастилии нанесло смертельную рану старому режиму и юноре трона — дворянству и уже сделала из нас событиями оказать победоносное сопротивление силам рождавшейся новой Франции. И как в России после февраля, все дальнейшее разворачивалось на фоне, созданном этим решающим революционным днем. Но русский февраль удар более сокрушительный, чем французский июль. Июль ранил на смерть монархию Бурбонов, но она еще почти три года умирала, корчась в судорогах. Февраль же сразу убил царскую власть и развеял прах по ветру.

Для большевиков настоящая революция началась только в октябре, потому что лишь после их переворота произведен был великий земельный передел, захвачены заводы и фабрики, подвергнуты репрессиям и гонениям имущие классы. На все это с такой же

если не с большей легкостью можно было - бы проделать и в до-октябрьский период. Те социальные слои, которые представляли землевладение и капитализм, с момента падения самодержавия уже бессильны были сопротивляться направленным против них мерам, хотя бы эти меры их уничтожали.

Октябрьский переворот вовсе не был революцией против помещиков и капиталистов. Помещиков и капиталистов уже февраль лишил всякой власти и силы. Они были побеждены еще до победы октября. Большевики выступили не против них, а против правительства, которое поддерживали эсеры и меньшевики, имевшие большинство в советах. Октябрьский переворот, сведенный до его истинных размеров, явился только победоносно кончившимся восстанием одной революционной фракции против других революционных фракций. Это была междоусобная борьба сил, вместе участвовавших в свержении старого строя. Октябрь означал не начало революции, а переход ее в иной фазис, фазис террористический и разрушительный.

Между февралем и октябрём вовсе нет непроходимой грани, как это утверждают, с одной стороны большевики, а с другой — многие демократические противники большевизма, за деревьями невидящие леса. Как стихийное движение масс октябрь продолжение февраля, принявшее под влиянием рокового стечения обстоятельств бурные и кровавые формы. Революционные массы России в общем не ставили себе новых целей, они лишь прибегли к иным средствам для их достижения.

Да, в февральский период революцию можно было считать еще бескровной, а после победы большевиков невиданный, ужасный смерч насилия и крови пронесся над Русской землей. Но в здесь нельзя видеть какого то водораздела, какой - то органической противоположности Февраля и Октября. Кровь и насилие явились неизбежным результатом бурного разлива клокотавшей страстями и инстинктами, революционной стихии, сломившей сдерживавшие ее плотины. Удивительно было то, что эти плотины только убеждением и доверием могли держаться так долго. Удивительно было то, что она раньше не вышла из искусственных берегов иллюзорной демократии и мифической законности.

Никто никогда не мог предполагать, что русская революция — вулканический взрыв, разметающий в прах громадные исторические напластования, будет протекать в мирных, спокойных формах, что она не залетит горячей лавой ненависти и разрушения города и веи потрясенной России. Для этого достаточно поработало самодержавие. Века жестокого угнетения русского народа, подавление в нем человеческого достоинства, держание его в темноте и невежестве ведь не могли пройти даром. Русские цари готовили ужасный час расплаты, подавляя нагайками и пулями порывы народных масс к лучшей жизни и в то же время своей тупой и без-

душной политикой доводя до крайнего обострения все социальные отношения. Они сделали в этом смысле, поистине, все что могли. Не случайно то, что всем тем, кто еще тогда, когда самодержавие было в апогее своего могущества, умел проникновенным взором заглянуть в будущее, рисовались видения страшные и кровавые.

Не Достоевский ли устами умирающего старика Ставрогина пророчески предсказал то, чему мы были свидетелями после Октября. Бесы вселятся в русский народ, и он начнет ломать и крушить все вокруг себя, точно одержимый. А что это за бесы? — Века рабства, унижения, беззакония, темноты, отвечает писатель-провидец.

Но в еще более сильных словах в высокой и потрясающей художественной форме видение грядущей революции дано Салтыковым-Щедриным. Видение почти апокалипсическое. Вспомним его описание момента гибели Угрюм — Бурчеева — этого символического образа, в котором воплощены вся тупость и жестокость самодержавия:

«Север потемнел и покрылся тучами: из этих туч нечто несло на город, не то ливень, не то смерч. Полно гнева оно несло бурю землю, грохоча, гудя, и стена и по временам изрыгая из себя какие-то глухие каркающие звуки... Воздух в городе заколебался, колокола сами собою загудели, деревья вздрожали, животные обезумели и метались по полю... Оно близилось и по мере того как оно близилось, время останавливало свой бег. Наконец земля затряслась, солнце померкло... Оно пришло».

Чудо февраля, если можно говорить о чуде, было в том, что самодержавный Угрюм — Бурчеев исчез именно так, как и описано в истории одного города «с зловещим треском, моментально, точно разстал в воздухе». Но земля не затряслась и солнце не померкло, колокола гудели не набатным призывом, а разливались радостным звоном. Между тем, в феврале весь принудительный аппарат государства рассыпался и не был, не мог быть сразу заменен другим. Народные массы внезапно освободились не только от царской власти, но и всякого принуждения. Они могли делать все, что бы не захотели, даже безумства. Но они оставались спокойными. Наоборот, они всеми силами старались показать, что могут сохранить порядок без жандармов и полицейских.

В городах не было экспрессов, никого не убивали и не грабили; при наличии революционного пролетариата, ненавидящего капитализм, который варварски выматывал из него жилы, никаких захватов заводов и фабрик. сохраняется к тому же трудовая дисциплина. Во Франции, как только весть о революции долетала до деревни, начинали пытать помещичьи замки и зарево пожаров зловеще освещало небо восставшей страны. В России крестьянство не трогает разбросанные в мужицком океане островки — дворянские усадьбы, как и их обитателей; оно сдерживает свою нена-

висть против вчерашних господ, оно не торопится даже осуществить свою вековую мечту — «черный передел».

Такую же сдержанность проявляют национальности, населяющие Россию. Русская Империя — тюрьма народов, но вот рухнули стены тюрьмы и пленники, очутившись на воле, вовсе не стремятся разбежаться без оглядки в разные стороны. Никто, куда, ни с одной окраины не доносится требование сепаратизма.

Еще разительнее пример действующей армии, которую так легкомысленно клеймили суровые патрноты. Она ведь в массе своей не стала разбегаться и осталась на линии огня, а какая сила могла бы удержать ее? И напрасно ссылаться тут на пример Французской революции, солдаты которой вызвали революционным патриотизмом. То были революционные армии, созданные уже после переворота, с революционерами — начальниками, с новыми порядками, и они шли защищать революцию против ополчившихся на нее европейских монархий. Русская же армия была императорской армией, со старым царским командным составом, она уже три года участвовала в кровопролитнейшей войне, начатой царем, войне, цели которой ей были мало понятны.

В чем же объяснение столь поистине исключительных явлений, характеризующих Февраль? Почему, когда с русской жизни спал обруч самодержавия, все накопленные в ней и сдавленные в центробежные силы не порвали сразу, устремившись в разные стороны, прежнего сцепления? Отчасти, по только отчасти, это можно объяснить инерцией прошлого, тем, что перемена положения произошла молниеносно и народ не сразу с ней освоился. Но больше всего тут, несомненно, сказалось то, что самодержавие пало почти без сопротивления. В народных массах не было ожесточения борьбы, но зато была огромная, все покрывающая радость освобождения, инстинктивное сознание величия совершившегося, величия столь покоряющего, что даже вчерашние подхалимы старого режима провозгласили осанну лучезарной революции. Все это экзальтировало души, подымало в них все лучшее, что в них было заложено. При тех огромных надеждах, которые охватили всю страну, чувство ненависти, мести, инстинкты расхвата были на первых порах придавлены иными более возвышенными настроениями. В то же время социалистическая интеллигенция, которая руководила революционным переворотом и сразу приобрела необыкновенный авторитет в глазах масс, провозглашала лозунги гуманности, свободы. Народ верил твердо, что дело его в надежных руках. Он верил в то, что революционеры, свергнувшие его вековых угнетателей, и теперь ставшие властью, будут разрешать во имя его интересов все поставленные революцией вопросы, следовательно нет надобности самочинно выступать и прибегать к «своим средствам». Он верил в то, что для окончательного закрепления победы нужно эту социалистическую интеллигенцию по-

держивать, внимать ее призывам, идти по тому пути, какой она указывала. Эта вера и составляла ту хрупкую плотину, которая сдерживала predeterminedный всем прошлым разрушительный разлив революционной стихии. Когда вера исчезла, стихия затопила все и пришло то, полное гнева, буровящее землю, грохочущее и гудящее, что пророчески провидел великий русский сатирик. «Оно» на этот раз действительно пришло.

Революция, казалось, осуществила вековую мечту русской социалистической интеллигенции, равнявшейся к объединению с народом, от которого отделяли ее рогатки самодержавия. Когда эти рогатки были сломлены, ее сближение с широчайшими народными массами совершилось быстро и как — бы по закону взаимного притяжения. Массы, воспрянувшие к новой жизни, радостно приняли ее руководство, сразу признали ее своим вождем, воспринимали ее идеи и лозунги. И это было понятно, так оно и должно было быть. Социалистическая интеллигенция была той героической силой, которая начала единоборство с самодержавным козлосом, которая объединила в этой борьбе передовые слои рабочих и крестьян, которая привела их к победе. Ее программа, в особенности программа социалистов — народников, выражала глубочайшие чаяния трудовой России.

Социалистическая интеллигенция, сразу вознесенная так высоко волной событий, была идеалистической, беззаветно преданной свободе и социализму. Но ее идеализм, слишком абстрактный, не сочетался с необходимым для руководства революцией реализмом. У нее был опыт революционной борьбы, но не было никакого государственного опыта. У нее были высокие идеалы, но не было способности реалистически понять те условия, на почве которых происходила борьба за них. У нее не доставало умения наметить средства, нужные для их осуществления.

Очутившись у руля революции, она легко поддалась миражу «безкровности», в чем и было ее роковое заблуждение. Она уверовала в то, что революция, или вернее революционная борьба уже закончена, что народный демократический строй уже налично и прочно закреплен. На самом деле революция только еще начиналась и никакой демократии в том смысле, как это принято понимать, в природе еще не существовало. Была только внезапно освобожденная от царских цепей необятная страна, в которой вместе с падением старого строя, распались и государственные скрепы и были взбудораженные человеческие громады, почувствовавшие свою огромную силу, но не имевшие еще навыков свободы и самоуправления. Демократию надо было еще только создавать, а руководители революции принялись действовать так, как будто она

уже существовала. Вместо того, чтобы применять революционные методы, которых властно требовала вся грозная обстановка революции, социалистическая интеллигенция неожиданно увлеклась изощренными парламентскими методами, допустимыми лишь в самой совершенной парламентской демократии, и только лишь в нормальное время. Можно было бы подумать, что ослепленная нежданной свободой, почти сказочным исполнением своих самых смелых мечтаний, она сразу лишилась чутья реальности. Можно было подумать, что выросшая в стране деспотизма, она всю жизнь изучала только практику парламентаризма и никогда не читала историю революции. Вступив на этот путь, она все более отдалялась от понимания основной проблемы революции и от возможности ее разрешения.

Всякая революция требует твердой и сильной революционной власти, ясно сознающей цели, к которым она идет, умеющей в случае надобности наносить удары направо и налево, всем, кто только пытается вставлять ей палки в колеса. В этом, и только в этом, залог ее успеха и победы над возвратным наступлением сил прошлого. В критические моменты перехода от старого к новому, когда бурно сталкиваются интересы классов и групп населения, разрываются социальные ткани и накаляются до бела страсти, только сильная революционная власть может спасти революцию от угрожающих ей опасностей и выполнить поставленные ею задачи.

Россия в 1917 году в этом отношении находилась еще в положении особенно трудном и опасном. Самодержавие, пережившее все законные исторические сроки, оставило после себя тяжелое наследство. Проблемы политические, социальные, национальные, которые политика царей накопляла в русской жизни и довела до крайнего обострения, были спутаны в один гигантский клубок. Русской революции в сущности надо было разрешить одновременно задачи нескольких революций. Ей нужно было произвести глубочайшие имущественные преобразования и осуществить революционную программу, еще невиданную в истории. И, в то же время, Россия находилась в кольце войны, которая истощала и выматывала ее силы, отражаясь внутри страны растущими бедствиями и разрухой.

Задача создания сильной революционной власти оказалась однако социалистической интеллигенции не по плечу.

Для этого нужно было прибегнуть к принуждению, быть голым, в случае надобности, применять силу во имя суровых требований революционного закона. Но тут то и проходила роковая черта, через которую интеллигенты - социалисты переступить не могли. Поколения русских революционеров вели борьбу против самого насильнического в мире режима, они впитали в себя глубочайшую непримиримую ненависть к насилию. Социалистическая интеллигенция боролась с самодержавием, в котором воплощались пер-

житки прошлого варварства, во имя самых высоких идеалов человечности и это двойное обстоятельство наложило глубокую печать на ее психологию. Правда, из ее среды выходили герои — террористы, бросавшие бомбы в угнетателей народа, но вместе с бомбами, они бросали в них и свою жизнь. Насилие, неоправданное, не искупленное личной жертвой или риском смерти, не примиралось с ее сознанием. В февральский период — эта психология, для преодоления которой у нее не хватало волевых импульсов, обрекала ее заранее на почти неизбежное поражение.

В то же время часть интеллигенции — незначительная — которой явно революции слишком сильно ударило в голову, впала в другую крайность. В ней проснулись кровожадность, вера в голое и безудержное насилие. Воскресала, казалось, навсегда похороненная нечаевщина. Эти элементы в силу естественного отбора группировались вокруг большевизма. Тут несомненно сказался, наряду с развращающим влиянием царизма на психологию некоторых революционно-интеллигентских кругов, и утрированный материализм до крайности огрубленного большевиками марксизма. Таким образом было два противоположных крайних настроения; но не формировалось, не складывалось среднее, чуждое тому и другому.

Между требованиями революции и душевной настроенностью большинства социалистической интеллигенции создавалась тяжелая коллизия. В этом и была ее трагедия. Увлечение парламентскими методами в известной мере было, быть может, неосознанной попыткой как — то обойти или смягчить это непримиримое противоречие. Но тем самым создавались неуверенность и шатание и на их фоне особенно пышно расцветали доктринерство и утопизм, оборотная сторона интеллигентского идеализма, которыми в сущности пытались прикрыться от напора действительности.

Сильная власть не создавалась, не могла ведь она родиться сама собой как *deus ex machina*, а без нее революция осуждалась на топтание на месте. Февраль дал русскому народу самую широкую, неограниченную свободу, какой еще никогда не было в мире, что должен был признать сам Ленин. Но кроме свободы народные массы в феврале ничего не получили. Февральская революция открыла перед ними невиданные возможности, но революционная власть, как таковая, их не использовала, не провела ни одной решительной меры, которая удовлетворила бы ожидание народа. В силу того же парламентского фетишизма все, несмотря на самую острую необходимость, несмотря на то, что речь шла о предохранении революции от гибели, все откладывалось до учредительного собрания. Но в силу того же зловещего фетишизма откладывалось и само учредительное собрание — до выработки более совершенного избирательного закона, до наступления более нормальных условий для выборов. И, таким образом, получалось, что ничего нельзя сделать до Учредительного Собрания, но и

Учредительное Собрание созывать еще нельзя. Законодательный аппарат революционной власти бездействовал, а жизнь мчалась вихрем.

В области промышленности была проведена только одна реформа — 8 - часовой рабочий день, но и это было скорее санкция завоевания, осуществленного в явочном порядке рабочими. В деревне, в крепости революции, положение было чудовищное. Крестьянство в массе воздерживалось от стихийного захвата земли, уверенное, что она уже от них не уйдет. Однако, помещики, по-прежнему продолжали владеть ею, сохраняя перед законом все свои права собственников. Крестьяне должны были как и раньше арендовать у них земельные клочки, как и раньше платить за них арендную плату. Чудовищность положения была в том, что после совершенной грандиозной революции против царя и помещиков в деревне продолжали сохраняться прежние отношения собственности. И революционная власть в неслыханном ослеплении становилась на их защиту, во имя «законности», противясь их нарушению даже тогда, когда это было необходимо, чтобы найти временный выход, ради предупреждения стихийных взрывов.

Можно допустить, что земельный вопрос в целом трудно было разрешить до учредительного собрания. Но нельзя понять, почему земля не была объявлена всенародной собственностью и отнята у прежних владельцев. Больше того, даже проект о передаче земель в ведение земельных комитетов, — требование буквально всей крестьянской России, — даже этот проект так и остался до конца проектом, несмотря на то, что Министерство Земледелия почти все время находилось в руках социалистов, даже социалистов-революционеров.

И то же бессилие, та же беспомощность проявляется в самом тяжелом, большом вопросе, вопросе о войне. После неудачного июньского наступления наступает маразм. Революция не умеет говорить полным голосом с союзниками. Она не умеет добиться от них ни программы мира, ни действительной помощи. Она не умеет уже по настоящему и воевать. Знаменитая формула Троцкого «ни мир ни война» почти уже выражала истинное положение еще до октябрьского переворота.

В оправдание бесплодности февральского периода кое-кто ссылается на коалицию. Коалиция наверное была большим препятствием. Но ведь и она определялась для громадного большинства социалистов их приверженностью к парламентской тактике. До Учредительного Собрания, которым окончательно выяснится соотношение партийных сил, ни одна партия не должна брать на себя целиком всей ответственности власти, такова была, как известно, господствующая точка зрения. Не решалась брать власть партия социалистов - революционеров, за которой шла вся крестьянская Россия, за которую на городских и земских выборах голо-

созаго громадное, подавляющее большинство населения. Не решались брать ее и все русские социалистические партии, вместе взятые.

Но и коалиция тоже в известной мере была ширмой, за которую тоже прятались в смутном сознании своей собственной слабости. Ибо для проведения революционных мер недостаточно было только однородного социалистического правительства. Нужны были еще решимость и смелость, энергичная мужественная политика, не смущающаяся угрозами и криками, откуда бы они не доносились, умеющая ломать все препятствия и обуздывать сопротивление тех, чьи интересы ею задеваются.

Еще хуже было то, что у социалистической интеллигенции не было достаточно выдержанности и твердости, чтобы последовательно проводить свою политическую линию. Она участвовала в коалиции с буржуазией, но, чувствуя ее непопулярность в массах, всячески порочила ту же коалицию своей печатной и устной пропагандой, подрубая тот сук, на который сама уселась. Она стояла за оборону страны, за сохранение фронта, и, в то же время, вела ожесточенную кампанию против союзников, желающих ценою русской крови купить господство над миром,

Так или иначе, к концу 9-го месяца революции в стране настоящей власти все еще не было. Вместе с тем и инерция прошлого, позволявшая некоторое время сохраняться хотя бы внешней видимости государственности тоже постепенно исчерпалась. Развал становился явным, неудержимым. Фактическое безвластие разнуздывало анархические инстинкты в массах, быть может еще сильнее пропаганды большевиков, которые из всех сил их разжигали, и в то же время бесплодие демократической революции, то, что она не разрешила ни одной из проблем, кровно касавшихся народа, эту анархическую стихию питало и усиливало. Две причины вызывали ее нарастание: не было силы, способной ее сдержать; сверху не было дано народным массам планомерно, в порядке революционной законности, то, чего тиетно ожидали. Обе эти причины имели один общий источник — отсутствие сильной революционной власти. Социалистическая интеллигенция беспомощно топталась наверху, а внизу уже поднимались валы бурных стихийных движений.

При том положении, которое создалось осенью 1917 года, диктатура становилась объективной неизбежностью. Раз социалисты не могли создать сильной власти в форме революционно - демократической, то она должна была притти к форме анти - демократической, диктаторской, справа или слева. Она не могла притти справа, потому что революция еще не достигла тогда своей кульминационной точки, потому, что она еще не выполнила своих основных задач. Она поэтому пришла слева под знаменем коммунизма.

В революции все обычные жизненные процессы совершаются бешено ускоренным темпом. Она не терпит застоя, шага на месте.

Большевизм был вынесен на гребне бушевавших волн анархической стихии, но он сумел потом укротить ее и утвердить свое господство над Россией. Большевизм все же не овладел душой революции, не завоевал основного массива многомиллионного трудового народа. В стране, где революционный взрыв уничтожил все ранее господствовавшие классы, его диктатура есть диктатура над этим народом и не над кем либо иным. Правда, большевицкая власть держится уже более девяти лет и это обстоятельство как будто говорит в ее пользу. Но она держится лишь благодаря все более расширяющимся уступкам стране. В. К. П. покупает сохранение своего господства ценою отказа от своей доктрины, путем выбрасывания за борт того, что составляло ее идеологическое содержание. Большевизм приспосабливается к условиям жизни, но это приспособление и приводит к его внутреннему вырождению. От него осталось, в сущности, лишь голая теория диктатуры, за которую большевики всех оттенков продолжают с ожесточением цепляться. *Вырождение большевизма неизбежный результат его затянувшегося властвования над страной, все внутреннее строение которой находилось в кричащем противоречии с его целями.*

В большевизме, как движении, несомненно отразились русские национальные черты, в нем воплотился дух разрушения, гнев, ненависть, накопившиеся в народе под придавившей его каменной плитой самодержавия. Но коммунизм как учение, как программа, был абсолютно чужд России и революции. Ленин ставил своей партии задачи, совершенно не вытекавшие из внутреннего содержания русской революции и с ней не связанные. Да это было ему не интересно. Его планы были не национальные, а мировые. По его схеме русская революция должна была послужить лишь рычагом, при помощи которого можно было бы опрокинуть здание капиталистического мира. И только в этом заключалось для него все ее значение. И только в этом и была вся суть большевизма. Когда выяснилось, что рычаг ничего не опрокинул, в большевизме сломилась его внутренняя пружина и он обездушился. Большевицкое отступление означало поражение коммунизма, крах коммунистического опыта над Россией и русским народом. Но по мере того, как оно продолжается и ширится, выявляются все более истинные размеры поражения и его последствия. По мере того, как большевизм отступает, высвобождаются постепенно внутренние силы страны. По мере того, как Россия оживает, жизнь вступает в свои права и русская революция, вопреки всем усилиям большевиков, начинает выявлять свое истин-

ное, содержание, которое они сознательно игнорировали и не хотели учитывать. В русской жизни все более создаются предпосылки непримиримые ни с тем, что большевики провозглашают, ни с тем к чему они стремятся. Все экономическое и социальное развитие страны ускоряющимся темпом идет как раз в обратном направлении.

Большевицкая диктатура сохраняется, но она бессильна выполнить то назначение, ради которого она создавалась. Наталкиваясь на могучее противодействие жизни, она принуждена склоняться перед ее требованиями. Она все менее может что-либо регулировать и наоборот сама подвергается все более жестокому регулированию. Большевицкие кормчие еще стоят у рулевого колеса, но передаточная цепь между колесом и рулем почти перестала ходить.

И в то же время у диктатуры нет более цели, которой можно было бы ее оправдать. Она сохраняет весь грозный аппарат власти, заграждая попрежнему народу дорогу к свободе и самостоятельности, но работает все более впустую. Ее оправдание было только в мировой революции, а раз нет мировой революции, то уже не остается ничего, что могло бы послужить для нее более или менее прочным базисом.

Всякая диктаторская власть, какую бы форму она не принимала, может существовать либо опираясь на тот или иной класс, интересы которого она выражает и политическое господство которого она осуществляет, либо имея под собою фундамент исторических традиций: монархия, империя. Но большевицкая диктатура не выражает интересов классов или значительных групп населения, она выражает лишь интересы В. К. П. и охраняет лишь ее монопольное властвование. И у нее уже, во всяком случае, нет исторических традиций, ореол которых ослеплял бы массы. Такое поистине парадоксальное положение не может длиться без конца в стране, в которой возобновляются глубокие, внутренние жизненные процессы с их непреложными законами. Вот почему большевицкая диктатура так или иначе будет изжита, подкапываемая и расшатываемая нарастающей силой этих процессов. Пусть даже гнет ее ужаснее царского, но все дело в том, что он не вытекает из внутреннего служения общества, а потому и не так страшен. Большевизм останется лишь фазисом, пусть длительным, русской революции, которая пойдет к своему завершению не под знаком октября, противоречащим ее сущности, а путями, которые февраль самым фактом своим проложил в будущее.

И пусть не пугают паникеры слева, или фантасты справа призраками Бонапартизма или реставрации. Плуг революции настолько глубоко взрыл русскую почву, что на ней не могут быстро вырастать силы, способные стать опорой для режимов насилия и своевластия. И не трудовые массы России, разбившие вдребезги

здание самодержавия и весь тяжелый социальный уклад, которому он служил олицетворением, подставят добровольно свою шею под ярмо нового деспотизма. В феврале вместе с падением царизма, исчез строй неравенства, строй сословного общества, уходивший корнями в деревенный вотчинный период, исчезло все, что на этот строй опиралось, и Россия стала великой трудовой страной.

Февраль снял придавившую их тяжесть с исторических особенностей России, в которых таятся громадные творческие возможности своеобразного передового развития; но чем больше отступает большевизм, тем рельефнее намечается своеобразие русской революции. Февраль, в котором оно было так ярко выражено, начинает побеждать октябрь. Революция жеденно, по верно, возвращается к своим истокам. Она возвращается к тем позициям, которые были даны в феврале. Это вовсе не означает возвращения к лозунгам и формулам, связанным с февральскими днями, как наивно воображают те, кто застыл в настроениях 17 года. Нельзя перелистать обратно страницы истории и река времен не течет вспять. Это означает возвращение к тому основному организескому, что не с собой февраль: свобода и труд, деятельное выступление народных масс на историческую арену, самостоятельное творчество трудящихся, вольно строящих новую жизнь на свободной земле. Февраль в этом.

Е. Сталинский.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ. ПОМЯТАЯ ДОКТРИНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ- СКОГО НАРОДНИЧЕСТВА. *)

Революция пробила в большевистской доктрине, особенно в части относящейся к крестьянству серьезные бреши.

Путь проделанный Лениным от пресловутых “отрезков”, через “конфискацию”, “комбедн” и “посевкомы” к “аграрно-кооперативному социализму” есть путь постоянных и плохо прикрытых отступлений.

Для нашей цели достаточно указать на последние этапы.

Напомним пержде всего, что Ленин еще в 1921 году считал мелкое крестьянство *главным врагом*, а кооперацию — одной из форм капитализма.

Вот, что писал он в своей знаменитой брошюре “О Продналоге”:

«Кооперация мелких товаропроизводителей неизбежно порождает мелко-буржуазные капиталистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на первый план капиталистов, им дает наибольшую выгоду. *Это не может быть иначе, раз налицо преобладание мелких хозяйчиков и возможность, а равно необходимость обмена.* Свобода и права кооперации при данных условиях России означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением». (Собр. соч. XVIII, ч. I, стр. 219).

«Он предлагал тогда», говорит Бухарин, объединение с крупным капиталистическим союзником, концессионным капиталом для преодоления «мелко-буржуазной стихии». **).

*) См. В. Р. Кн. XII-I

**) Бухарин и Ко. пытаются доказать будто между двумя ленинскими «вариантами» нет противоречия. На основании че-

Три года спустя в своей предсмертной статье он уже пишет: «Простой рост кооперации для нас тождественен с ростом социализма» (Собр. соч. — О кооперации т. т XVIII, ч. 2, 143-144).

Такова новая теория, принимаемая, как и все исходящее от Ленина, за непререкаемую истину. Большевистские теоретики сожалеют о том, что статья о кооперации черезчур кратка и не разрешает всех их сомнений *). Они пытаются, однако, дополнить ее и развить.

Прежде всего Бухарин фактически хоронит теорию разложения крестьянства и его неизбежной пролетаризации. Признавая, что советская статистика «крайне хромает» и что «точной картины дифференциации нет», он объявляет все же:

«Если вы берете какую-нибудь чисто-капиталистическую страну и даже такую, которая развивается на капиталистическом пути очень бурно, то и тогда мы, марксисты, мы, ленинцы признавали (прошедшее время здесь явное... преувеличение. В. С.), что крестьянское хозяйство в своем середняцком массиве, хотя и вымывается в процессе капиталистического развития, но все же этот процесс идет неизмеримо более медленно, чем в промышленности. Но если так обстоит дело в капиталистическом режиме, то у нас при национализации никак такого быстрого темпа дифференциации не может быть по самому существу дела» *) (см. доклад, напечатанный в «Известиях» 5 авг: 1926 г.).

Большевики вынуждены также признать, что все их предсказания относительно неизбежного разложения общины не оправдались.

Так например в статье «Землеустройство и землепользование» (*Большевик* № 3-4, 1925 г.). Квириг констатирует:

«Как наиболее распространенную форму землепользования для всей территории Союза нужно считать общинную».

Приведя цитаты из прежних статей Ленина против общины, в которых он между прочим объявлял *прогрессивным* столыпинское землеустройство, Квириг пытается при помощи обычных софизмов доказать, что несмотря на торжество социализации зем-

тырех слов из приведенной выше первой цитаты: «при данных условиях России». Они утверждают что теперь условия изменились: развивается госпромышленность. Но подчеркнутая нами фраза о мелких хозяйчиках и обмене указывает на основные условия, которые продолжают существовать.

*) Вопросу о разложении крестьянства были посвящены в «Воле России» чрезвычайно интересные статьи А. В. Пешехонова (кн. 4 и 5 за 1925 г.), к которым мы и отсылаем читателя. См. кроме того К. Р. Кочаровский: «Обобществление сельского хозяйства в России». Записки Института Изучения России, кн. II, Прага.

ли и уравнительного землепользования, «Ильич» все таки был прав.

Это, разумеется, весьма похвально и даже трогательно, но для нас гораздо более интересны приводимые Квирином статистические данные, которые, по его собственным словам, *«подверждают, что хуторские формы и землепользования почти сведены на нет, и община целиком и полностью властвует...»* Если, продолжает он, революционный порыв и коренная реоформа не могли сломить (как будто бы они имели целью ломать! В. С.) сложившиеся формы землепользования, то, повидимому (догадались таки!), она имеет за собой глубокую хозяйственную почву. Таким образом в результате Столыпинской реформы и революции, мы имеем такое положение на селе, когда общинная форма землепользования является господствующей.

Квириг считает это бедой, ибо сохранились «все отрицательные стороны старой общины — чересполосица, дальнополье и частые переделы».

Он все же высказывается против дробления на хутора и предлагает *«образование небольших земельных обществ и создания из них небольших поселков и выселков»*, иначе говоря, сохранение общины в новых формах. Это уже вопрос техники землеустройства, и вопрос приспособления общины к потребностям сельско-хозяйственного прогресса *). Как известно, эсеры вовсе никогда не настаивали на закреплении на вечные времена *данных* форм общинного землепользования, а наоборот являлись и являются сторонниками их совершенствования и развития. Для нас важно то, что наш принципиальный спор с большевиками о жизнениности общины и о ее способности к эволюции разрешен историей последних лет в нашу пользу.

Еще более любопытна статья Гольцмана в том же журнале (*Большевик*, № 2 за 1926 г.) «Об экономических предпосылках социализма в деревне».

Гольцман пишет:

«Именно такая страна, в которой сельское хозяйство

1) стоит на грани между докапиталистическими и капиталистическими способами производства,

2) расчлененное на массу мелких хозяйств, руководимых индивидуальными товаропроизводителями, педиференцированными на собственников средств производства и наемных пролетариев,

*) Квириг настаивает, правда, на том, что выселки в отличие от существующей теперь общины будут чисто добровольными, лишены всякого принудительного элемента общинами, как будто бы самый факт сохранения крестьянством общины в результате революции не свидетельствует о том, что данный земельный строй соответствует его воле, как будто бы подчинение меньшинства большинству противоречит принципу коллективной собственности.

3) втянуто в достаточной мере в общественный товарооборот,

4) вынуждено вследствие расширения сбыта и аграрного перенаселения искать новых форм технического прогресса, именно такая страна может при известных исторических предпосылках перейти к социализму, минуя капиталистические отношения «перепрыгивая» через капитализм».

Воспроизведя, ничтоже сумняшеся, (стр. 23) эту «народническую ересь», большевистский автор заявляет, что лишь «упрощенный, меньшевистский, недиалектический марксизм» не приемлет ее.

Он приводит вслед за тем обычную традиционно-марксистскую схему развития капитализма в земледелии и повторяет то, что мы твердим уже более 25 лет:

«Эти традиционные (Sic!) рассуждения совершенно упускают из виду специальные исторические условия и возможности, в которых развивается сельское хозяйство в нашей стране» (стр. 24).

Гольцман возражает против «огульного перенесения открытых Марксом законов «на восточные страны» и цитирует известное письмо К. Маркса, на которое до сих пор «народники» обычно ссылались в полемике с «марксистами».

При этом оказывается, что

«Ошибка народников не в том заключалась, что они не понимали общих законов развития товарного хозяйства... Их ошибка заключалась в неумении оценить конкретные условия экономического развития России (!).

Им казалось, что достаточно взять власть — как развитие хозяйства мимо капитализма будет обеспечено» (стр. 27).

Некапиталистическое развитие земледелия стало, очевидно, возможно лишь после того, как власть взяли коммунисты, которые до прихода к власти и до тяжелых уроков, которые им дало крестьянство, считали эту эволюцию вздором и видели лишь два способа внедрения социализма в деревню: через капитализм, или при помощи принуждения сверху.

Впрочем, Гольцман имеет в виду социалистов-народников 70-х годов, которые вели свою борьбу в условиях еще не развившейся капиталистической промышленности. Приписывать вышеупомянутые «ошибки» партии социалистов-революционеров он не решает и предпочитает об этой партии умолчать, ибо было бы через чур глупо утверждать, что она не умела «оценить конкретные условия» и исторические особенности хозяйственного развития России, или что ее участие в государственном и хозяйственном строительстве было бы менее благоприятно для некапиталистической эволюции деревни, чем большевистская диктатура.

Гольдман, как и Квиринг не связывает концов с концами. Приведя известное письмо Маркса к Вере Засулич об общине, недавно опубликованное, он заявляет:

«Нужно прямо сказать, что Маркс ошибся в своей оценке общины». *)

Он думает, что капитализм «настолько основательно разворочал общину, что ошибочность народнических (и Марксовых В. С.) воззрений стала ясна».

Но вслед за этим он снова впадает в народническую ересь, объявляя, что «докапиталистические отношения в деревне могут развиваться в социалистические», при чем вся оригинальность теории Гольдмана заключается в том, что по его мнению в деревне социализм временно *«реформируется»* (!) в промежуточное «кооперативные формы», а не кооперация *развивается* в социализм. Кроме того по его мнению эта эволюция возможна лишь в том случае, если кто-то со стороны будет ее финансировать.

И, как полагается, ряд новых противоречий:

С одной стороны: «Марксисты видят *единственный и исключительный резерв для поддержки социализма в русской деревне в развертывании социалистической революции в передовых странах Запада*».

С другой *«социалистическая промышленность — вот тот резерв, который может финансировать развитие докапиталистических отношений в деревне в социалистические»*.

Как известно, пока что «социалистическая» госпромышленность живет на счет деревни, а не наоборот...

Все эти блуждания не ослабляют, однако, значения основного теоретического отступления Гольдмана.

Более реалистически чем он смотрит на дело другой большевизский автор М. Кантор в статье «Строительство социализма в деревне и аппарат есельско-хозяйственной кооперации» (*Большевик*, кн. 5-6 за 1925 г.).

«Проникновение социализма в нашу деревню, пишет он, может произойти *не в результате того, что городские организации помогут деревне провести электрические провода и применить к мелкому производству последнее слово техники, а в резул*

*) Вот выдержки из этого замечательного письма:

«Историческая неизбежность этого процесса (экспроприации земледельца) точно ограничена странами Западной Европы».

«Специальные изыскания, которые я произвел и материал для которых я почерпал в первоисточниках, убедили меня, что эта община является точкой опоры для общественного развития России. Но для того, чтобы она могла функционировать, как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которые теснят ее со всех сторон, а затем обеспечить ей условия самостоятельного развития».

тает постепенного приспособления к рынку отдельных отраслей сельского хозяйства. С этой точки зрения образование специальных сельско-хозяйственных товариществ и организация коллективных предприятий по обработке масла, льна, картофеля и т. п. имеет гигантское значение.

М. Кантор приводит из «Вестника сельско-хозяйственной кооперации» обзор А. А. Минина за 1924 год, из которого следует, что эти специальные кооперативы растут особенно интенсивно.

«Переработка продуктов, говорит он затем, подвергается в первую очередь кооперированию под влиянием товарного обращения. Крестьянин легко идет на организацию какого либо предприятия по обработке льна, масла, картофеля, потому что в данном случае еще не задвигается его святая святых — единоличный труд и единоличное производство... Именно таким путем преобразования одной за другой различных отраслей крестьянского хозяйства... пойдет развитие социалистических предпосылок в деревне».

Как видит читатель, не смотря на все противоречия и оговорки коммунистических авторов, их перспективный план социалистического строительства в деревне постепенно приближается к нашему. И один из официальных журналов («Вопросы Советского Хозяйства и Управления») не без некоторого основания писал еще в 1924 г. (кн. I, стр. 8): *«Нам действительно приходится быть «народниками», практически в нашей экономике осуществляют по отношению к крестьянству в жизни те меры, которые народники выставляли в споре с нами тридцать лет тому назад».*

*
**

Большевики, разумеется, очень плохие «народники» и, как мы увидим ниже, менее всего способны руководить социалистическим строительством в совершенно чуждой им деревне, для исследования которой они отправляют пока что, как в Центральную Африку, настоящие «научные экспедиции».

Кооператизация деревни и создание в ней «социалистических предпосылок» может быть лишь делом самой крестьянской, народнической интеллигенции и партия социалистов-революционеров должна двинуть на эту работу в организованном порядке свои самые квалифицированные силы.

Возможности перед ней в деревне открываются громадные, и если эсеры не уклонялись от «легальной» кооперативной работы при самодержавии, то нет ровно никаких оснований не принимать в ней самого деятельного участия теперь.

Они вооружены глубоким и всесторонним знанием деревни, которую народничество изучает уже десятки лет, стройной теорией

обобществления сельского хозяйства, теорией, которая продолжает развиваться, несмотря на неблагоприятные условия. Они обладают, наконец, большим кадром опытных работников, которые нуждаются лишь в общем руководстве и организационном объединении, правда, чрезвычайно трудном в условиях нелегального существования партийного политического аппарата, но не невозможного.

Один из лучших исследователей крестьянства К. Р. Кочаровский в чрезвычайно интересной статье, напечатанной в «Записках Изучения России», кн. II, дает общую схему процессов обобществления русского сельского хозяйства, которая может быть положена в основу этой работы.

Обобществление сельского хозяйства, говорит Кочаровский, «как совершалось, так и будет совершаться процессами и автоматическими, и авторитарными и автономическими, но все с большим преобладанием последних» *).

Под *автоматическим* процессом Кочаровский подразумевает «положительную конкуренцию» между трудовыми сельскими хозяйствами — индивидуальными и коллективными — которые будут побеждать не в силу монополии и привилегий, а в силу наибольшей производительности и наибольшей «прогрессоспособности».

Авторитарный элемент в обобществлении сельского хозяйства, говорит Кочаровский, выразится в утверждении и развитии того аграрного строя «премио-гарантизма», который уже сложился в государственном надельном землевладении и в крестьянском общинном кооперативе».

Государство гарантирует каждому земельный надел не ниже потребительной, не выше трудовой нормы. Вместе с тем государство должно развить зачаточную пока систему премирования наилучших достижений в сельском хозяйстве, как индивидуальных, так и коллективных, обеспечивая полный результат труда и справедливое вознаграждение таланту и общественному служению.

«*Автономное* хозяйственное обобществление» развивается в трех «планах» — производственном, организационно - распределительном и меновом.

1) Производственная кооперация в России развивалась органически издавна, в связи с прогрессом крестьянского хозяйства. «Отныне проблема производственной кооперации стоит перед крестьянской Россией, как проблема хозяйственной целесообразности,

*) Терминология Кочаровского может показаться несколько непривычной, но она, если в нее вдуматься, весьма точно передает сущность разных видов обобществления.

как проблема развития производительности через соединение и разделение труда».

«Она примет, как и принимала, множество всевозможных типов, от «большой семьи» и «складчины» для отдельных целей до все более интегральных производственных объединений».

«Она будет развиваться и совершенствоваться по-прежнему, как бытовое творчество, а не как уставная организация» *).

2) Второй слой «автономного» обобществления составляет кооперация организационно-распределительная в виде **земельной общины**, охватывающей большинство крестьянства.

К. Р. Кочаровский предвидит усовершенствование «общинного кооператива» путем «сведения его к целесообразным размерам, примерно от 50 до 100 дворов» и создания ряда различных типов — «от традиционного чересполосного подушного распределения, к подушной широкополосице, к подворно отрубной и подворно хуторской, наконец, к «складской» общине и к разным комбинациями этих систем в одной общине» **).

3) Третий, *верхний*, по выражению Кочаровского, пласт составляет обычная «**меновая кооперация**».

«Она представляет собой заимствованную Россией с Запада новую надстройку формальной уставной кооперации над органическим бытовым деревенским кооперативом. Но имея прямые корни в последнем, питаясь и пропитываясь общим духом кооператизирующего быта и социального автономизма русской деревни, меновая сельско-хозяйственная кооперация необыкновенно быстро разрослась количественно, охватив значительное большинство крестьян, наполнилась богатым содержанием и тесно срослась с бытовыми кооперативными пластами».

«В будущем предстоит то ее развитие и усовершенствование, которое энергично и успешно шло уже в прошлом».

... «В общем проблема сельско-хозяйственного прогресса и развития сельской культуры не в *воспитании* крестьянства автоматическими и авторитарными силами извне и сверху, а в автономном *самовоспитании* крестьянства и кооперации».

**

Все это очень хорошо, скажут нам, но большевики уродуют кооперацию, подгоняя ее к своим политическим планам, травят

*) В обстоятельной статье С. Рафальского в той же книжке Записок, посвященной «Сельско - хозяйственным коллективам Советской России», указывается, что после краха коммуны и совхозов наиболее жизненными формами производственной кооперации являются артели и особенно сельско-хозяйственные товарищества.

**) Ср. выше землеустроительные искания Квинринга.

кооперативных чиновников, заменяя их своими чиновниками, а вся их экономическая политика задерживает развитие деревни, приносит крестьянство в жертву «индустриализаторских» планов.

Согласны. Но не понимаем почему отсюда должно следовать отрицательное отношение к деятельному участию в процессах обобществления сельского хозяйства.

Лишь участвуя активно в кооперативной работе, можно практически бороться с уродствами коммунистического в ней засилия. Два обстоятельства облегчают эту задачу.

1) Мы видели, какая авария потерпела в результате безуспешной борьбы с крестьянством коммунистическая теория. Как бы ни были важны соображения высшего политического характера, советские власти, особенно местные, не могут сопротивляться росту и развитию бытовых и уставных коопераций, совершенствованию распределительного аппарата общины в духе и направлении, указываемом программой партии социалистов-революционеров.

2) Теоретически изрядно «помятая», раздираемая противоречиями, не умеющая связать концы с концами коммунистическая партия располагает в деревне чрезвычайно слабыми количественно и качественно кадрами, которые сплошь и рядом по своему культурному и политическому уровню ниже среднего «беспартийного» крестьянина, не говоря уже о «передовиках».

Изданный в 1925 г. ВКП сборник статей и материалов «Ячейка и Советы в деревне» дает чрезвычайно утешительную для нас картину коммунистического бессилия в деревне.

Вот выводы этой брошюры:

«Действительность оказалась чрезвычайно неприглядной. Состав деревенских ячеек очень слаб, культурный уровень деревенских коммунистов непомерно низок, отношений с беспартийными коммунисты никогда не хотели, а по большей части и не умели наладить. К тому же положение ухудшилось тем, что 1) беспартийный стал по своему уровню перерастать коммуниста, 2) прием новых членов партии в деревне встретил уйму ненужных волокиты и препятствий».

Поворот от «командования» к повому изданию «сердечного попечения» вызвал недовольство деревенских коммунистов, проявившиеся, по свидетельству брошюры, в следующей чрезвычайно характерной фразе-признании:

«Забыли, как мы для вас (для правительства) последний кусок хлеба с винтовкой отнимали у крестьян». (стр. 4).

«Форпосты партии в деревне крайне слабы», заявляет автор брошюры (стр. 73).

В деревенских ячейках находится 202 тысячи членов и кандидатов — на 20 миллионов крестьянских дворов.

В среднем на ячейку приходилось 5-6 человек. В 250 укрупненных волостях (от 40 до 50 тысяч населения на волость) не было ни одной ячейки. Одна ячейка не приходится в среднем даже на 5 укрупненных советов.

Ясно, что 5-6 коммунистов, политически малограмотных, разбросанных по отдельным селениям (стр. 9) на территории с десятками тысяч жителей, — не такой уж опасный праг.

О политической неграмотности деревенских коммунистов официальные данные рассказывают прямо сказочные вещи *).

Между тем все ком'ячейки, пребывающие постоянно в «ударном трепете» (стр. 72), «занимаются иностранной политикой, кампаниями О. Д. В. Ф. и т. д.», тогда как «все вопросы, касающиеся нужд и интересов крестьянства, разрешаются непосредственно сходом помимо ком'ячейки и даже Советов (стр. 35).

«Передовики крестьяне, читающие газету, знающие законы, «сурьезно» относящиеся к делу, обычно смотрят презрительно-посмешливо на коммуниста, который все болше говорит о кулаках, о революции в Европе и Китае, газет не читает, в практических и даже политических вопросах не разбирается.

Партия не руководит «общественно-политической жизнью деревни» (Иркутская губерния, см. стр. 108).

Общезвестно, что ком'ячейки являются одним из органов власти на местах. Обычно все члены их занимают административные должности (стр. 74).

В уральской деревне «у крестьян создается такое мнение, что опять ими управляют чиновники» (стр. 105).

В Томской губернии «ни одна из обследованных партийных ячеек сколько нибудь значительным авторитетом среди населения не пользуется».

«Ячейки выступают, как администраторы, командуют, назначают».

Выборные кампании — пустая формальность (стр. 114).

«Ни середняк, ни бедняк не чувствуют себя хозяином деревни, а жалким, бесправным существом, которым помыкает каждый коммунист, комсомолец» (стр. 115).

Понятно, что при этих условиях работа беспартийных советов, по признанию этого официального отчета, ведется лучше, чем коммунистических (стр. 36), что культурно-просветительную ра-

*) Как видно из доклада Ярославского, напечатанного в Правде от 10 февраля с. г. положение не улучшилось с 1925 года. Проверочными комиссиями установлено, что 30% деревенских коммунистов политически совершенно неграмотные. В Ульяновском (Симбирской губ.) было обнаружено всего 3.7% коммунистов разбирающихся в политических вопросах, а наряду с этими 11.7% коммунистов «абсолютно не имеющих понятия о партии».

боту ведет «деревенская интеллигенция» (стр. 40) и что у крестьян к этой интеллигенции отношение хорошее, тогда как ком'ячейки ей не доверяют (стр. 61, 63), относятся враждебно, а иногда и ведут себя по отношению к ней (особенно к учительству) безобразно (стр. 42).

Цитируемый нами сборник констатирует также несомненный факт повышения политической активности крестьянства и приводит ряд примеров, из которых видно, что «середняцкая», беспартийная масса вышла из состояния запуганности и постепенно берет в свои руки ведение всех крестьянских дел.

Вспомним, что говорил Сталин на 14-м съезде в декабре 1925 г. «Политическая активность крестьян поднялась. Они громко говорят и критикуют власть».

«Что имелось у нас в деревне в конце прошлого года и в начале этого — хорошо известно. Общее недовольство среди крестьян нарастало, а кое-где были попытки к восстанию, расправы с предвиками и секретарями ячеек».

При этом нарастании политической активности крестьянства, при слабости коммунистических партийных организаций в деревне, при неспособности большинства деревенских коммунистов руководить сельской кооперацией и культурно-просветительной работой, при глубоком идеологическом кризисе коммунистической партийной массы — в деревне открывается громадное поле для работы передового эсеровского крестьянства и народнической интеллигенции.

Ближайшей практической задачей является завоевание (вернее создание) сельского самоуправления, завоевание кооперации и «чистка» ее от вороватого коммунистического чиновничества.

Мы не можем согласиться с теми, кто, не видя в России ничего кроме коммунистической диктатуры, утверждают, что в русской деревне теперь «нет *никакой реальной базы для развития кооперативного движения*» и что «радоваться его теперешнему расширению все равно, что видеть в росте промышленных заведений в период инфляции симптом здорового хозяйственного развития».

Конечно политическая свобода — нужна для развития кооперации. Но при активности, настойчивости можно отвоевать «явочным порядком» свободу кооперации по крайней мере «в местном масштабе».

Несомненно, что при другой экономической политике кооперация развивалась бы лучше, а процесс обобществления сельского хозяйства шел бы более нормально.

Но и теперь участие в кооперативном строительстве возможно и является необходимым условием успешного давления на хозяйственную политику правительства.

Некоторые большевики уже отдают себе отчет в том, что

без подлинных, убежденных кооператоров создание социалистических предпосылок в деревне не возможно.

В уже цитированной статье (*Большевик* № 3) Коммунист Кантор пишет:

«Большинство работников старой кооперации — представители земской, либеральной или народнической интеллигенции, то есть, люди со сложившимися общественными убеждениями, которые перенесены ими в кооперацию, как общественное дело.

«Но в отношении идеологии мы пожалуй отдали бы предпочтение им перед некоторыми работниками кооперации-коммунистами, ушибленными старыми кооперативными идеями».

Коммунисты имеют большинство в центральных органах кооперации — 64% в потребительной и 57% — в сельскохозяйственной.

Но уже по союзам сельскохозяйственной кооперации на 6.000 выборных работников коммунистов имеется меньше половины — 48%.

Во всем аппарате сельскохозяйственной кооперации *служащих* коммунистов — 12%.

В первичных же сельскохозяйственных кооперативах на 240 тысяч выборных работников-коммунистов всего 14%.

При организованном и планомерном ведении дела не исключена возможность самого широкого проникновения в сельскохозяйственную кооперацию социалистических, народнических элементов и находящихся под их влиянием «передовиков».

При этом борьба *за середняка* против новых попыток «раскулачивания», против «иждивенческой» психологии «бедноты», уповающей на ГПУ (см. речь Сталина на 14-ом съезде), может вестись «в местном масштабе» легальными средствами; организацией крестьянской общественности, пропагандой и в особенности *примером* подлинной культурно-просветительной работы.

Основной конфликт на местах возникает из-за подозрительного отношения власти и ком'ячеек к «закиточному», к улучшению и расширению крестьянского хозяйства.

Но рост кооперации будет неизбежно содействовать росту «закиточности» крестьянской массы, повышать ее благосостояние на почве улучшения, интенсификации ее хозяйства.

С точки зрения кооперативно-социалистического строительства есть столько же оснований опасаться этого роста, как и роста квалификации и повышения заработной платы *промышленных рабочих* *).

*) Тот же Кантор говорит между прочим:

«Поскольку кооперация широко раскрывает двери для всех слоев населения можно считать, что она способствует в известной степени сохранению однородности крестьянского хозяйства. Участие середняка, повидимому, в ней и останется преобладающим».

Объединение «середняков», переход «бедняков» в середняцкую массу, подъем тех и других на высшую ступень развития — такова задача кооперативного движения.

На практике необходимо свести на нет в каждом отдельном селе попытки коммунистов командовать или навязать «среднякам» политическое и «идеологическое» руководство стоящих ниже их в культурном и во всех других отношениях, так называемых, «бедняков» (конечно, могут быть исключения), которые, по свидетельству даже официальных изданий сплошь и рядом политически неграмотны.

«Зачем вы нас классуете», говорили крестьяне одному из авторов вышецитированного сборника, «мы все равны». В этом есть известная правда. Поскольку ближайшая, непосредственная задача «бедняка» — стать «середняком», непонятно почему ему даются какие то политические привилегии. Поскольку допускается, что и «середняк» объективно заинтересован в «социалистическом строительстве» и может быть верным «союзником» городского пролетария непонятно, почему он должен идти на поводу у «бедняка».

Перевыборы советов в 1924 и 1925 году, после провозглашения «нового курса», закончились, как известно, поражением коммунистов.

Авторы официального сборника «Сельсоветы и волисполкомы» писали по этому поводу: «Кулаки, деревенские торговцы всякого рода осевшие в деревне эспроствившиеся чиновники и интеллигенты, бывшие белые офицеры и бывшие эсеры и полужсеры ранее мало заметные в деревне и редко осмеливавшиеся выступать открыто, в связи с назначением новых выборов почувствовали себя много смелее и в ряде мест очень активно выступали на собраниях не только против местных ячеек и отдельных работников, но и против советской власти в целом».

Нас мало трогает это шаблонное клеветническое смещение кулаков, белогвардейцев и эсеров.

Важно для нас лишь признание того факта, что крестьяне снова потянулись к народнической интеллигенции.

«Культурные силы деревни, говорит отчет ВЦИК-а о перевыборах 1926 года, впервые приняли более живое участие в избирательной кампании, составляли списки, выступали на собраниях и т. п.

Согласно отчетами «Известий», было избрано интеллигенции в % % -ах.

	1924-25	1925-26
Сельские советы	1,8	2,5
Волостные с'езды	3,5	5,0
Вол'исполкомы	4,8	4,8

Вместе с тем, согласно выпеститированному сборнику, *«крестьянство начинает противопоставлять переизбранные советы, как свои органы самоуправления, вышестоящим органам советской власти и советской власти в целом»*.

Громадное значение этого перелома в настроении крестьянства очевидно.

Оно становится ясно и для социаль-демократов меньшевиков, которые постепенно освобождаются от недоверчивого, боязливого отношения к крестьянству.

Если до сих пор меньшевики продолжают считать эту мелкобуржуазную массу антисоциалистической и упорно отрицают возможность кооперативно-социалистического развития русской деревни, они все же начинают верить в ее демократизм.

Далин решительно объявляет (*Соц. Вестник* №№ 7, 8, 9 за 1926 г.) «совершенно ложным» представление некоторых своих друзей о крестьянстве, как о дикой, реакционной массе, которая может быть «либо покорным быдлом, либо разрушительной стихией».

Он подвергает пересмотру — правда еще не достаточно смело — «марксистский» взгляд на деревню, как на *пассивный объект* политики, и показывает, что и в Европе и в России крестьянство проявляет большой интерес к политическим вопросам.

Далин признает громадное значение крестьянского кооперативного движения, «которое выходит далеко за пределы экономики». Он почти буквально повторяет то, что всегда утверждали эсеры и, в частности, «Воля России» в спорах с меньшевиками, а именно, что *экономические интересы* крестьянства толкают его в сторону демократии и союза с рабочим классом.

«Поиски нового — это самое характерное для новой деревни, пережившей революцию», говорит Далин, подтверждая этим слова Каутского, с которым так неудачно полемизировал Ф. Дан. Те, кто не замечает этого нового, прибавляет он, «очень мало понимают в эволюции нашей деревни».

Наконец, на основании большевистских данных, Д. Далин показывает, что политическая борьба с правящей партией, *«как это ни странно, (для меньшевика, разумеется) в данный момент гораздо серьезнее в деревне, чем в городе»*.

«Крестьянские советы делаются органами борьбы за крестьянские права, за более свободное самоуправление, словом, за демократические права против произвола, назначенства, казенщины».

Факты показывают, что нажим диктатуры, поскольку он пробуждает политическую активность, толкает деревню на путь борьбы за демократию».

И наконец, на основании тех же данных он утверждает, что

в своей борьбе крестьянство естественно начинает объединяться вокруг «народнических», эсеровских элементов деревни.

Само собой разумеется, что, повторяя эсеровскую аргументацию, меньшевистский публицист не может не пустить парфянскую стрелу в тех «прекрасно-душных русских демократов», которые «закрывают глаза на опасность бонапартизма» исключительно на основании *«наивной веры в силу идеи»* (идея, разумеется, в кавычках).

Предоставим этой стреле лететь по неизвестному нам адресу столь простодушных чудаков, вернее всего существующих лишь в сатирической фантазии Далина.

Для нас вполне достаточно того, что меньшевистский публицист, не отрицая возможности бонапартизма, считает его маловероятным, исходя из тех же соображений, которые и мы неоднократно развивали и расходясь со своим товарищем по редакции Р. А. Абрамовичем, который убежден, что крестьянство всей своей громадой поддержит реакционную, бонапартистско-фашистскую диктатуру.

Мы думаем, что деятельно работая в кооперации, в советском местном самоуправлении, содействуя развитию и совершенствованию земледельческой общины, ведя культурно-просветительную работу в избах-читальнях и т. п. народническая интеллигенция и эсеровское передовое крестьянство смогут создать в деревне столь прочные основы трудовой демократии, что никакие коммунистические «форпосты» с ними не справятся. Они просто выветрятся, не смотря на виштовки и ручные гранаты.

Большевики хотят, чтобы обобществление земледелия проходило под руководством и идейном влиянии ВКП и чтобы ее, якобы чисто «пролетарская», идеология пропитала мужицкую кооперацию. Поэтому они и носятся с «бедняками», как с писанной торбой, стремясь одновременно поднять их хозяйство, то есть, превратить в середняков, и вместе с тем сохранить какую-то особую «бедняцкую» психологию, будто бы более благоприятную для социалистической эволюции земледелия, чем «середняцкая».

Задача неразрешимая со всех точек зрения.

Две или три тысячи коммунистов, воспитанных Лениным, могли, используя благоприятные обстоятельства и ошибки эсеров, захватить в свои руки руководство революционной стихией. Они могли создать бюрократический, полицейский и военный аппарат, поскольку они опирались на столь же стихийное чувство «необходимой самообороны» против помещичьей контр-революции.

Но они не в силах — хотя бы каждый из них был семи пядей во лбу — переделать на свой лад психику стомиллионной крестьянской массы, превратить при помощи циркуляров, агиток и смехотворных докладов о мировой революции (которые часто сами докладчики не понимают по свидетельству вышецитирован-

ного сборника материалов и последнего отчета Ярославского) деревенского середняка в «марксиста-ленинца».

Крестьянство русское придет к социализму своим собственным *«народническим»* путем.

Попытки полицейскими мерами истребить «химически» (как признавал сам Ленин) выделяемую им народническую крестьянскую интеллигенцию и остричь под ленинскую гребенку органически вырастающее, идущее «из глубины вѣков», по выражению Кочаровского, социально экономическое движение крестьянства могут лишь внести в него временное расстройство, глушить отдельные его ростки, задерживать его развитие, но не в состоянии изменить природу крестьянского хозяйства и закон сельско-хозяйственной эволюции.

А политическое пробуждение огромного крестьянского моря уже теперь проявляется в том, что у себя в деревне крестьяне «передовики» в борьбе с комчиновничеством завоевывают фактическую свободу самоуправления и самоорганизации.

Кооперативное строительство, культурная работа, и борьба за политическое освобождение суть различные стороны единого процесса массового «оживления и выздоровления деревенской России».

Что же касается «бонапартизма», то, не отрицая опасности реакционных настроений в кулачестве и в городском мещанстве, мы невидим почему основная масса трудового крестьянства добровольно откажется от политических прав и свободы организации, печати и культурного развития — в пользу какогонибудь российского Муссолини. Меньшевик Далин совершенно прав, «объявляя» реакционной утопией мнение тех, кто «воображает будто после революции, после ликвидации большевистской диктатуры русская деревня вернется в старое состояние, будто броне распределения земли ничего не изменилось».

Если верно (как мы это думаем), что трудовая крестьянская масса в силу собственных внутренних стимулов развивается в направлении своеобразных форм общественного хозяйства, выделяя из себя необходимые культурные силы в лице сельской интеллигенции, то не может быть никакого сомнения в том, что эта снизу вырастающая хозяйственная демократия выльется в формы демократии политической.

В. В. Сухомлин.

КОНЕЦ ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОЭЗИИ В ЧЕХИИ *)

I

Духовная жизнь послевоенного периода определяется могучим потоком социальной энергии, бьющим с элементарной непосредственностью по всей Европе. Русская революция, разрушившая прежнюю царскую империю, и создавшая на ее развалинах диктатуру пролетариата, новый общественный и экономический рядок, краткая венгерская революция и, наконец, немецкая революция, преодоленная в самом своем начале, революционные толчки, бывшие по всей Европе и у нас, определяли характер послевоенной жизни. Социальный вопрос стал важнейшей проблемой всего света и пролетариат вступил действительно как важный элемент в мировую жизнь.

В чем же заключается эта социальная энергия, которая стала столь важным слагаемым мирового действия? Пролетариат освободился и осознал себя. Разложение империализма, милитаризма и ненавистнического национализма, вызванного войной, освободило и в пролетариате социальную энергию. Но это освобождение является чрезвычайно сложным процессом, который необходимо рассмотреть по крайней мере в главных чертах, так как он непосредственно касается и современной поэтической действительности.

Прежде всего неспоримо, что основным элементом этой энергии является *социальный мистицизм*, который составляет — я бы сказал — ее физиологическую основу. Ведь именно этот социальный мистицизм и был духовной и материальной реакцией человека против военной и послевоенной действительности. Я

*) Настоящая статья с разрешения автора, известного чешского критика, взята из его только что вышедшей книги «Проясняющийся горизонт», состоящей как из теоретических статей, так и очерков об отдельных соврем. чешск. писателях и поэтах.
ИЛЬНЫХ СОВРЕМ. ЧЕШСК. ПИСАТЕЛЯХ И ПОЭТАХ.

называю это мистицизмом потому, что прежде всего уже в самой своей основе это движение последней надежды и хилиастической веры. В мрачную, неустойчивую эпоху, находящуюся всецело в тени крыльев массовой смерти, социализм появляется с такой же все потрясающей стихийностью, как некогда кипучая вера в пришествие Христа. Уже своими корнями это движение является религиозным. Из ощущения, что жизни грозит опасность, вырастает стремление к тому, чтобы были уничтожены страшные противоречия, само же стремление перерождается в картину счастливого будущего, когда не будет уже ни войн, ни притеснений, ни нужды, ни убийств, ни злобы. Эта картина основывается на великой вере в близкое пришествие всеобщего спасения. Повторяю — ядром этого мистицизма является эсхатологическое предчувствие искупления целого света из того страшного страдания, в котором оно находится *). Из эсхатологического настроения вырастает стремление к скорой, моментальной перемене — так оно превращается в мистику революции. Необходимо осознать, что все социальные поэты, начиная с Гильбо, Блока, Маяковского, и кончая нашим Волькером, Сейфертом и Библем, наполняют свои социальные стихи прямо религиозной символикой: их социальное чувство так близко к религии, что для его выражения они должны искать символов в религиозных, векам деиравшихся понятиях.

Из этих основных чувств вырастают дальнейшие психологические ветви, питающие прилив социальной энергии. И прежде всего это вера в новую, неизношенную культурно-творческую силу пролетариата. Пролетарий, окруженный готовыми мещанскими формами, к которым он чувствует отвращение так как они не соответствуют его представлениям и ощущениям мира, верит, что в лоне нового класса таятся небывалые возможности, прямо залежи новой энергии, пока еще предкультурной, которая в будущем, однако, преобразится в систему новых культурных форм. Из этого вырастает сознание, что в пролетариате кроется надежда мира, а далее уже идет обожание и восторженная идеализация пролетария, у которого нужно учиться, ибо в нем все и находится.

Все это несет дальнейшие последствия, выражающиеся в безусловном *культе масс, толпы*. Ощущение слабости, кроющееся в каждом пролетарском сознании, превращается, благодаря сублимации, в ощущение огромной силы массы, оживленной неразрывной солидарностью. Масса — это мистическая реальность,

*) Эти мои выводы совпадают со взглядами социального философа Генриха де Мана, книгу которого *Psychologie des Sozialismus* я считаю наиболее глубоким трудом в области социальной философии.

из которой произойдет будущий мир. Масса — это единственный источник новой жизненной силы. Масса это спасение мира. Ее основной добродетелью является *мифологический героизм*. Масса осуществит хилиастическую мечту о свободном человеческом будущем.

Вот в чем заключается психологическая и физиологическая основа этого могучего родника социальной энергии. Это элементарная реакция человека на послевоенное состояние общества. Это иррациональные предпосылки коммунизма, который может быть приведен в какую угодно систему.

II.

Новое мироощущение было связано теснейшим образом с этим социальным мистицизмом; он сделался богатым орудием вдохновения для нового искусства, которое стремилось стать активным элементом мирового творчества. Зачем петь вдали от гигантского действия, изменяющего всю лицо земли, сладкие мелодии о любовных восторгах? Кому это приносит пользу, кто это читает? Если поэзия должна приобрести какой-нибудь смысл, то она должна стать непосредственным органом жизни, а если жизнь взволнована социальным смерчем до самых своих основ, то и поэзия должна служить тому же самому. Когда мы читаем теперь все эти манифесты, провозглашающие социальную поэзию — безразлично возникли ли они в России, в Германии, в Польше, или у нас — в Чехии — то видим, как в начале радостно приветствовали пролетарское искусство, как будто оно было долго ожидаемым выходом для новой поэзии: оно обещало поворот от сентиментальности и позднего романтизма, от личных любовных и нравственных кризисов, от пассивности и меланхолии, а в положительном отношении обещало слияние с типичной, коллективной реальностью целой эпохи, целого класса; оно обещало, что поэзия перестанет быть роскошью, которой пользуется богатое расслабленное и культурное мещанство, обладающее деньгами и образованием для восприятия нежнейших культурных движений, нет, поэзия будет насущным хлебом для всех, так как она будет выражать простые, сильные и общие всем страсти, чувства и понятия и найдет благодаря этому отклик в самых широких кругах; оно обещало отход от поэзии, как вольной и своевольной эстетической игры, которую несет легкая фантазия, ни к чему не обязывающая, и возвещало поворот к жестокой и насильно вторгающейся в жизнь поэзии, к поэзии ответственной по отношению к огромному, социальному, мировому действию, к поэзии, стоящей бок о бок с теми, кто страдает.

Еще в начале этого процесса Волькер в своей лекции о пролетарском искусстве, выдвинул весьма ответственный лозунг:

«Мы чувствуем невозможность и несправедливость современного порядка и верим в лучшую перестройку общества. Находя же ясный и конкретный план в марксистских тезисах, мы смотрим на мир через исторический материализм. Поэтому для нас новое искусство является *классовым, пролетарским и коммунистическим*». Это выступление Волькера*) было весьма ответственно. Социальный мистицизм, основанный на чувственно-физиологическом моменте и бывший фундаментом социальной поэзии, он сузил при помощи марксизма, крепкой рационалистической системы, состоящей из нескольких философских принципов исторического материализма, (философия прибавочных ценностей, принцип классовой борьбы и революции). Волькер рационализировал немного преждевременно хаотическое иррациональное чувство новой жизни, сузил основу, и, собственно говоря, подломил уже самую возможность создания новой социальной поэзии. Эта концепция не удовлетворяла вполне его самого — он обладал чрезвычайно требовательным в эстетическом отношении духом — и убивала, в полном смысле слова, поэзию иных, менее страстных и сильных поэтов, так как сводила ее к нескольким формулам, которые редко удавалось донести до жгучести лирической стихии.

Моей задачей не является критика марксизма с философской точки зрения. Я уже не раз писал о нем и думаю, что высказал несколько мыслей, которые касаются самого существа вопроса. Я хочу разобрать поэтические ценности, основанные на марксизме. Иными словами, может ли марксизм быть вдохновителем новой поэзии? Я утверждаю, что ни в коем случае. Я считаю и с тем фактом, что марксизм наших молодых поэтов был, так называемый «*vulgar marxismus*», сводящийся к нескольким агитационным, крикливым лозунгам. И в этом виде он был вреден логическому образотворчеству поэта, самому его отношению к миру.

Прежде всего: марксизм это наука об освобождении человека, но это *наука без человека* точно также как, например, психофизическая психология была наукой о душе — без души. Человек, как реальность, Маркса ведь не интересует. Человек у него это совершенное понятие классового воина, который выполнит свою задачу в революции. Это не человек, а пешка, лозунг, слово. Эта наука безчувственная к человеку не потому, что гонит его в революционную бойню, а именно потому, что не обращает на него никакого внимания, что он для нее почти совершенно не существует.

*) И. Волькер, молодой коммунистический поэт, умер недавно от туберкулеза. Его главные произведения — Баллады, рассказы и сказки, три пьесы, некоторые из баллад были напечатаны в В. Р. (1924 г.) по русски. Среди рабочей и студенческой молодежи в Чехи пользуется большим успехом и влиянием (Пример.)

Во-вторых: марксизм отрывает поэта от мира, так как между ним и светом опускает густой занавес, сотканный из словесных символов, категорий и понятий, претворяющих мир в седую мглу без красок жизни, волнений, аромата, любви и тепла. У немцев для этого понятия есть хорошее выражение; они говорят, что марксизм *Weltfremd*, чужемиреп (Г. де Ман). Все эти словесные символы отличаются абстрактностью — настолько они *непрактичны* и сомнительны, настолько они висят прямо в воздушном пространстве, настолько противоречат основным, человеческим инстинктам и законам реальности. Г. де Ман сказал вполне правильно, что марксизм страдает полною невозможностью перевести методы коммунистического познания в методы действия. Марксизм выдвигает постулат абсолютного пролетаризирования пролетариата, что и является основой революции, но сам пролетариат стремится прежде всего к тому, чтобы его пролетаризировали как можно меньше, что ему с успехом и удается. Марксизм указывает на абсолютную несоединяемость пролетариата и государства, которое является выразителем воли капитала — этот конфликт уже не существует, так как пролетариат принял участие в управлении государством и т. д. и т. д. Марксизм видит жизнь лишь с точки зрения классовой борьбы — он ее обирает, кастрирует, насиловует. Итак, он идет в разрез с основными элементами души художника, который воспринимает мир, как множественность, плюральность.

Наконец марксизм *механичен*: для него жизнь представляется в виде плоского механизма экономических процессов, которые влияют на всю культурную надстройку. Он тупо рационалистичен, его тезисы, которые должны влиять на все мировые события, нужно принимать на веру. Он совершенно отрицает участие человеческой воли в мирном строительстве и не хочет понять, что мысль это лишь рационализация первичной *волевой функции*. Повторяю снова: благодаря всему этому он является прямой и полной противоположностью взглядов современного поэта на жизнь и мир.

Таким образом выступление Волькера имело широкие последствия: он дал основу новой социальной поэзии, по этой же основе он ее и убил. Марксизм и поэзия *абсолютно исключают друг друга*.

III.

Сужение социальной поэзии до степени лишь социалистической, т. е. до степени революционной функции и было причиной ее упадка. Если поэзия хочет быть выражением жизни революционной эпохи, то она должна быть прежде всего чем-то в ро-

де кирки и даже динамита при разрушении старого мира, дабы одновременно она могла быть камнем и цементом при создании нового. Поэзия стала мускулистым борцом, революционным безумцем, трубачем революционного войска. Она приобрела мускулы и кости, ее голос превратился в стальной топ команды. Свет дрожит от непрерывного землетрясения, так пусть же поэзия увеличивает удары, которыми уничтожается кусок за куском мешанский мир. Мир полон взрывчатых веществ, так пусть же поэзия их поджигает, взрывая хотя бы одну башню буржуазной крепости. Там, где в мировой постройке появляются хотя бы маленькая трещина, поэзия должна непосредственно действовать — так как необходимо эту трещину увеличить.

Поэзия, основой которой является марксизм, не может быть, конечно, тихой, душевной сосредоточенностью, освящением прекрасных моментов жизни, приумножением радости, веселья, счастья в душе человека, усталого от работы. Ведь все это лишь ненужный орнамент на поверхности жизни, в то время как сама жизнь проявляет себя в истинном своем виде в форме революционных выступлений, гигантской борьбы между капиталом и пролетариатом, борьбы, при которой течет кровь и сотни тысяч умирают от голода. Разве для поэта марксиста человеческая единица может быть чем-нибудь иным нежели млекопитающимся, раздавленным капиталом и являющимся дрожжами для взращивания классовой ненависти, или же вождем революционных масс, который при помощи внушения умеет увеличить их силы? Личные человеческие интересы и чувства — о, как это все ничтожно. Кому интересно заниматься всем этим. Поэзия должна расти и жить в самом центре революционных событий, одним из активных элементов которых она и является: она или бомба или мина; она служит или как сомкнутый строй при штыковой атаке или же, в самом скверном случае, по крайней мере как рефлектор, который нащупывает вражеские позиции.

Эта пролетарская поэзия, имевшая подобные теоретические обоснования (Волькер, Тейге, *) Вацлавек, Вохо, С. Т. Нейман **) была чрезвычайно скоро ликвидирована. Причины этого весьма простые.

*) Тейге, художественный и частично литературный критик, принадлежит к молодой группе «Девять сил», теоретиком, которой он и является. Находится под сильным влиянием левых французских течений, которые как то удивительно сливаются с русским коммунизмом. Группа еще очень сильная два, три года тому назад, теперь почти совсем рассыпалась, два три лучших поэта и писателя, вышедшие из нее, живут теперь обособленно. (Примеч. пер.).

**) С. Т. Нейман уже пожилой поэт, издавший несколько томов прекрасных стихов. Был в начале анархистом, потом через революционный национализм перешел к коммунистам. Все созданное им теперь весьма слабо, так как прежняя главная струя его творчества была эротическая. Пишет в коммунистических газетах и под псевдонимом издает многотомную «Историю любви в веках» (Прим. пер.).

Поэзия никогда не была и не будет непосредственным оружием жизни, киркой, динамитом, штыком. Пролетарские теоретики и поэты переоценивали и недооценивали поэзию, приписывая ей силы и способности, которых у нее не было, и не замечая элементов, которым она располагала. Они приписывают ей огромное воздействие на мир, которого у нее никогда не было. Кто читает даже самые лучшие стихи? Журналы выходят у нас в количестве 1000-1500 экземпляров; газеты — 50.000 экземпляров. Ведь это лишь малая горсточка людей. Но если бы стихи были прочтены даже 9/10 всех граждан, то и тогда бы они не имели политического влияния. Быть может они бы возбудили минутное чувство сострадания, отвращения, бешенства, революционных желаний, но все это растворилось бы весьма скоро в потоке иных потрясений и переживаний. Ошибочно полагать, что поэзия может быть активным фактором социальной революции. Точно так же, как нельзя революционизировать запаха цветов, оттенков закатного неба или пения птиц, точно также нельзя революционизировать поэзию, которая в глубине своих основ является таким же ароматом, пением от полноты жизни, или гармонией красок.

Далее дело уже касается *целесообразности поэзии* и следовательно ее социальных функций. То, что в начале пролетарской эры возникло убеждение, будто социальная поэзия является радикальным переворотом в искусстве, которое было до сих пор абсолютно лишено какой-бы то ни было пользы, было совершенной иллюзией. Людям хотелось, чтобы поэзия стала опять функцией личной и общественной жизни, чтобы она стала для всех хлебом, утоляющим душевные и материальные потребности, одним словом — чтобы она стала тем, чем было искусство в примитивные эпохи, когда, например, песня исполняла функцию военного марша, или определяла ритм работы и т. д. Все это было иллюзией. В условиях современной чрезвычайно дифференцированной действительности искусство не может иметь иного значения, кроме возбуждения скоро нарастающей эмоции, мгновенной полой радости, наслаждения, веселья, или обостренной тоски. У искусства тоже есть свои функции. Это — художественное построение, удовлетворяющее современной общественной структуре инстинкты, которые не имеют иного выхода. Современное переограниченное общество ограничивает, напр. абсолютную свободу человеческих действий, оно дает точные предписания для его поведения и запрещает почти всякую форму похищений, героизма, чрезмерной храбрости, которые находятся в абсолютном противоречии с пелицейскими предписаниями. Так вот непреодолимая потребность героизма удовлетворяется авантюрной прозой, драматической поэзией (необычайное пристрастие к Сирано де Бержераку фербенковским фильмам. В них находится иску-

венная действительность, в которой и изживается этот первичный инстинкт. Общественная жизнь особенно заглушает эротические проявления, не допуская того, чтобы пробились наружу все те страшные инстинкты, которые составляют пожалуй самую богатую часть нашего существа: излишек этой эротической инстинктивной энергии изживается в поэзии: она дает множество символов — иллюзий, при помощи которых аффективно удовлетворяются инстинктивные потребности. То же самое можно сказать и о потребности в юморе. В эпоху, которая выдвигает так остро все большие и непереносимо тяжелые жизненные проблемы, требующие абсолютной ответственности и серьезности, все больше и больше проявляется потребность в легкой игре воображения, вызывающей при этом острое жизненное ощущение свободы, т. е. веселья. Эта потребность удовлетворяется художественной фикцией, которая способна оживить целый мир понятий радостной игрой легкого юмора. Итак, это правда, что у искусства в современной общественной реальности есть своя особая функция, которая использует излишек чувственных и инстинктивных потребностей, не могущих быть примененными в практической жизни, при помощи целой системы целесообразных символов, избавляющих нас от давления неизжитых инстинктов. Искусство растет из этого излишка сил и поэтому оно не может быть всеобщим хлебом, который является необходимостью, неотъемлемой потребностью в смысле жизненного самосохранения.

Кроме того пролетарское искусство скорее искусство для пролетариата, чем искусство пролетариата, подобно тому же как социализм является скорее миром — и экономо — воззрением, пригодным для пролетариата, чем воззрением самого пролетариата (Г де Ман). Несомненен факт, что это искусство творится лишь в меньшей своей части самим пролетариатом, что его родоначальники вовсе не *пролетарии*, так как они обладают значительным количеством культурных ценностей, это интеллигенты, поэты, культурные верхи. Таким образом все это пролетарское искусство не может быть ничем иным, как продолжением мещанского искусства совершенно также, как пролетарская культура лишь одна из ветвей буржуазной культуры. Пролетарская поэзия, если она имеет художественную ценность, изживает таким же образом излишек стремлений, энергии, воли и чувств в душе пролетария, порождает символы, которые *реактируют успокаивающим образом* на уже упомянутое чрезмерное давление энергии. Скептицизм по отношению к пролетарской культуре и поэзия все более и более увеличивается. Сам Троцкий в своей книге «Литература и революция» утверждает, что культура является результатом целых столетий. Найдется ли, таким образом, у пролетариата, диктатура которого будет лишь краткой, переходной эпохой, наполненной борьбой и созидательной работой, достаточно вре-

мни для создания своей особой культуры? Да вообще нужна ли подобная культура? Чем больше будет крепнуть новый, пореволюционный режим, говорит Троцкий, тем сильнее будет вливаться пролетариат в остальные части общества, т. е. он будет терять свой классовый характер, перестанет быть пролетариатом. Поэтому перед пролетариатом лежит задача покончить как можно скорее и окончательно с классовым и культурами и открыть пути к культуре всего человечества. Таким образом, если бы даже и создавалась пролетарская культура, то она была бы плодом сегодняшнего дня и большим затруднением в будущем, когда будут ликвидированы все классы. Пролетарская поэзия имела бы смысл лишь в том случае, если бы была непосредственной продукцией самого пролетариата, который выражал бы в ней мир своих элементарных попяттий, инстинктов, чувств и своих неудовлетворенных понятий, инстинктов, чувств и своих неудовлетворенных потребностей — но в таком случае, с точки зрения классовой идеологии, эта поэзия была бы *вредной* для революционного процесса, так как своими символами удовлетворяла бы, хотя и фиктивно, глубокие потребности пролетариата и умаляла бы таким образом сословную ненависть и революционный восторг.

Итак, необходимо отделить друг от друга области искусства и коммунистического пролетарианизма, так как эти две области абсолютно несоединимы.

IV.

Положительные результаты периода чешской пролетарской поэзии не велики. Это Волькер, I. Гора, Я. Сейферт, *) К. Библь, **) А. И. Пипа, Инд. Торейшип — несколько стихов В. Незвала, ***) два-три стихотворения С. Т. Неймана — вот и все, если не считать некоторых мелких рассказов и прекрасной повести о «Пекаре Маргоуле» Ванчуры ****). После смерти Вольке-

*) Я Сейферт, как и К. Тейге принадлежит к группе «Девять сил», это абсолютный лирик, верящий в коммунизм, но совершенно его не знающий. Находится под сильным французским влиянием, особенно Аполлинера, которого и переводит на чешский язык. Одно время совсем отошел от пролетарских тем, проповедывал «поэтизм», но в своей последней книге «Соловей поет плохо» снова к ним вернулся.

**) К. Библь принадлежит к младшей группе поэтов «Авангарда», последнее время кроме пролетарских тем избирает и экзотические.

***) В. Незвал — чистейший романтик, по причинам теоретического расхождения вышел из группы «Девяти сил». Стих его своеобразен и смел. За последнее время, кроме стихов, выпустил две книжки прозы, имевшей меньший успех у публики вследствие своей сложности.

****) В. Ванчура — один из лучших чешских прозаиков, для него коммунизм одна из форм сострадания к пролетариату, в котором он ви-

ра начался постепенный отход от пролетарской поэзии. Когда мы рассматриваем более подробно все это творчество, то уже на первый взгляд нам становится ясно, что сильные и ценные стихи возникали тогда, когда поэт изменял программе во имя верности своему поэтическому чувству... При чтении чешской социальной лирики все время создается впечатление чего-то невнятного, задуманного, безголосого, не проникнутого страстью и человеческим теплом. Исключение составляют некоторые лучшие стихи Волькера, Горы и Библия, которые выражают скорее всю тяжесть человеческого страдания, отраженного в сердце поэта, чем объективную социальную реальность. И в поэзии Волькера много мусора, ненаполненного фантазией и не приобретшего своей формы, в которую бы вылились взгляды. Сам I. Гора, вдохновитель этой поэзии, страдает лирическими грехами в долгом ряде человечески слабых произведений. Нам кажется, что теоретически привитый марксизм прямо подкашивал лирическую силу мироощущения, свежую непосредственность, нежную конкретность поэзии.

Все время создается впечатление мучительного пробуждения социальных инстинктов, загнанных воспитанием и современной жизнью в область бессознательного. У этических лириков, подобных Волькеру и Горе, пробуждаются положительные социальные инстинкты солидарности, симпатии, единства, героизма и жертвенности. В социальной риторике Неймана, выраженной в его «Красных песнях» и кое-где в иных стихах, пробуждаются примитивные воинственные инстинкты, а также ненависть и безудержное стремление уничтожить по что бы то ни стало враждебный класс. Здесь начинают подавать голос то какие-то обрывки религиозной фантазии, то чувство возмездия, вообще что-то нечеловеческое, еще не укрощенное. При этом все время чувствуется, что все это еще не проснулось, все в тумане, не стоит на ногах и шатается из стороны в сторону. Лишь в редких случаях, в жгучем лирическом дыхании двух баллад Волькера, в моральной страсти некоторых стихов Горы, в «Обломке» Библия и в Premier plan Незвала это новое чувство, наконец, заговорило своим языком и начало петь страстную, прямо палящую мелодию. Там, где нужно было длительное проникновение в мысль и чувство и где на место непосредственного вдохновения высту-

лит униженных и оскорбленных. Продолжает традицию больших европейских романистов, в частности, связан с Диккенсом и Достоевским. Обладает чрезвычайно смелым и неожиданным стилем, почти бесстрашен, мастер в описании пейзажа и человеческой бедности. Кроме «Пекаря Марголя» написал книгу мелких рассказов «Течение Амазонки», роман «Поля сражений и поля хлебные» и юмористическую повесть «Разнообразнейшее лето». См. его рассказы в «Воле России» в 1925 г. кн. 6. (прим. пер.).

пала программа, рождались серые, дидактические стихи, лирические отбросы. Вообще на этом лирическом пространстве *много безцветного*. Здесь мир не играет новыми, постоянно возобновляющимися красками, в нем нет горячей, поражающей красоты, у жизни нет динамики, простора, силы, множественности — человек как-то оборван, ходит как слепой и все время проваливается в пучины темных размышлений. Вся эта осенняя атмосфера прямо губит в поэзии все то, что в ней является самым важным: радость многосторонности, краски, звуки, ароматы, радость самого расцвета жизни. Под каждое проявление жизни поэт должен подводить революционный восторг; весна на земле не смела быть для него огромным резервуаром неожиданно ощутимой энергии, признаком жизненных соков, чувств, инстинктов, красок, ароматов — нет, для него весна была обязательной аллегорией будущей весны — революции. Весь мир становился лишь *аллегорией*, вся жизнь лишь несовершенным отражением будущей жизни, ее красота была наполнена тоскливыми тенями какой-то северной меланхолии, ее многосторонность была связана узким фундаментом, механичностью экономического материализма. Человека тут лишили всякого человеческого содержания, на него смотрели или как на жертву капитала или как на бревно от красного знамени, которое несут во главе революционных отрядов. Больше всего вредило то, что тогдашние поэты не видели пролетария в широких комбинациях целью мира, движимого новыми взрывами жизненной силы, труда, проявлениями цивилизационной и колонизационной энергии; социальная поэзия не сумел подсмотреть новую, обширную активность всего мира, важным фактором которого был бы пролетарий.

Наконец — социальная поэзия не создала и новой формы. Она присоединилась к этической традиции чешской поэзии, к северной, я бы сказал, прямо реформаторской чешской традиции. Лишив стихи дерзкого напряжения фантазии, легкой игры образов, ласковой атмосферы жизненной свободы, она начала давать или социальные впечатления или социальные символы. Это была строгая, серая, мертвая, этически обоснованная поэзия, связанная своими вершинами с лирическо-балладной традицией Эрбена *) и Неруды **).

Ф. Гец.

*) Эрбен — чешский романтик прошлого столетия, писавший баллады в стиле Ленау и Жуковского.

**) Неруда чешский фельетонист, новелист и поэт прошлого столетия, прославившийся своей книгой «Малоостранские рассказы», где реально и с живым юмором описывает мелких городских людей и их быт. Как поэт, он более всего известен своей книгой стихов «Космические песни», в которой, с одной стороны, воспевал мировую гармонию, а с другой, показывал всю ничтожность человека. См. рассказ Неруды в В. Р. 1923 г. кн. 20 (прим. пер.).

ПЯТИЛЕТИЕ „ВОЛИ РОССИИ“

В 1927 г. «Воля России» вступила в шестой год своего существования. Начав выходить в 1922 г. в виде еженедельника большого формата, журнал с сентября того же года стал издаваться в нынешнем типе и формата, — сперва дважды в месяц, а затем ежемесячно.

По случаю пятилетия издания редакция «Воли России» устроила 3-го февраля в Праге чай для сотрудников и друзей журнала. В помещении редакции, украшенном портретами Герцена, Чернышевского, Лаврова, Михайловского, Гоца, Брешковской, Лазарева, собралось около ста человек русских и иностранных гостей. Всем присутствующим была роздана «памятка» о «Воле России».

И. М. Брушвит в остроумной речи, произнесенной на русском и на чешском языке, в качестве «главы стола», приветствовал юбиляра в образе пирамиды книг, сложенных у председательского места и состоящих из всех выпусков журнала за пять лет.

От имени редакции произнес речь **М. Л. Слоним**, благодаривший собравшихся за их приветствия и в кратких чертах обрисовавший историю журнала и его основные задачи. Пять лет, сказал **М. Л. Слоним**, малый отрезок времени, но в наши дни, живущие умноженным существованием, и особенно в наших русских условиях — это целая эпоха с бурным и меняющимся содержанием. И пять лет журнала под суровым небесами эмиграции — это пять лет мучительной борьбы, незаметных каждодневных усилий в области материальной, и неустанной работы мысли в области политической и литературной. Быть может особенно трудным был путь именно нашего журнала, ибо на его долю выпала ответственная задача продолжать и развивать за рубежом одно из основных направлений русской общественной мысли.

«Воля России» не случайное явление: она одно из звеньев той «золотой цепи» преемственности русской мысли, которая тянется еще с начала прошлого столетия. Она ощущает себя прямой продолжательницей русского революционного народничества, и стремится идти в его русле, обновляя и раскрывая его основные положения и пытаясь с их помощью осознать и усвоить опыт революции.

Твердо помня о своеобразии русской истории, о социальных и психологических особенностях русского народа, мы в то же время являемся противниками всякого национального обособления и верим, что будущее России лежит на путях связи с мировой культурой и требует ее активного участия в мировых социальных и политических процессах.

Из нашего мировоззрения с его глубоким уважением к человеку, с его этическим обоснованием социализма, с его пониманием задач социалистического строительства, как самостоятельности масс и творчества коллективов, с его широким подходом к проблеме культуры, вытекает и направление журнала. Продолжая работу *Pour la Russie* и газеты «Воля России», журнал всегда занимал позицию последовательной защиты демократического социализма против большевизмской диктатуры и коммунистических искажений. Главной особенностью «Воли России» было то, что не в одной борьбе против современного режима или в критике его, видел журнал свои основные задачи. Именно исходя из принципов народнического социализма, «Воля России» предостерегала от увлечения одной критикой и отрицанием. Провозглашая полное принятие и признание русской революции, «Воля России», за обманчивым фасадом коммунисто-большевизмской системы, требовала поддержки тех сил и процессов, которые внутри страны определяют и существо и формы новой России. По нашему мнению уже и сейчас происходит строительство русской пореволюционной государственности, и многие начала грядущего, иногда в полном, иногда в искаженном виде, уже даны, уже присутствуют в современной русской действительности. Стремление понять и правильно оценить происходящие в России события вызвали со стороны «Воли России» провозглашение лозунга «лицом к России», столь трудно понимаемого в эмиграции. Попытки журнала найти и учесть положительные, творческие элементы современной русской жизни вызывали всегда ожесточенную борьбу и полемику в зарубежной русской печати. Всякий раз позиция «Воли России» встречала нападки со стороны большинства органов зарубежной прессы, вплоть даже и до некоторых органов социалистического толка: так было с энергичной кампанией против интервенции и блокады, против изоляции России и за ее признание в международном масштабе, которую «Воля России» проводила на своих страницах. Всем памятна также позиция, занятая журналом по вопросу о коалиции и задачах эмиграции.

Обращенность к России определяла позицию журнала в области не только политической, но и культурной. «Воля России» всегда стремилась знакомить своего читателя с новым русским искусством, призывала к поддержке его наиболее талантливых и передовых элементов и к внимательному и сочувственному изучению молодых побегов русской культуры. И здесь журнал опять таки проводил свою основную требование свободы: свободы творчества во всех областях духа и жизни, уничтожение марксистских запретов и коммунистиче-

ских ранжиров. Придавая огромное значение именно проблемам культурного строительства, «Воля России» стремится стать органом политики и культуры, приветствуя все, что способствует культурному развитию современной России.

Эта политическая и культурная позиция журнала, вызвавшая серьезный отпор в широких кругах эмиграции, постепенно завоевала себе признание, и вокруг «Воли России» сплотились теперь значительные общественные и литературные силы, и образовался все более и более растущий круг читателей и друзей. Мы с особенной радостью должны отметить, что в среде своих читателей, живущих в России, журнал всегда встречал самую живую и действенную поддержку.

«Воля России» не считает себя эмигрантским органом. Это журнал, выходящий временно за границу, но не чувствующий отрыва от России и тесно связанный с русской жизнью. Его задача — следить за всеми изменениями и проблемами этой жизни и, отражая их на своих страницах, говорить о них всегда полным голосом, с полной свободой высказывания. Не являясь формально партийным органом «Воля России», выражая идеологию определенного политического направления, стремится к возможно большей свободе на своих страницах. Это тоже одно из главных отличий журнала: защищая определенную политическую программу, последовательно развивая взгляды революционного народничества вообще и партии социалистов революционеров в частности, «Воля России» однако охотно дает место всем оттенкам мысли, идущими в общем с ней направлением и никогда не замыкалась и не будет замыкаться в узкие границы партийного органа. Она стремится к расширению и круга своих сотрудников, равно как и круга обсуждаемых в журнале вопросов, и с удовлетворением отмечает, что ее стремление находит сочувственный отклик среди лучших представителей передовой эмиграции.

Все эти задачи стоят перед журналом и в будущем. Он будет стараться выполнять их в меру своих сил, черпая опору среди все увеличивающегося круга своих сотрудников и читателей. Опыт недавнего прошлого лишь укрепляет наши надежды и нашу волю к работе. А перенесенные испытания и удары заставляют вспомнить справедливое изречение поэта — что не может сломить нас, делает нас сильнее.

Своеобразную приветственную речь на чешском языке произнес один из старейших представителей партии чешских социалистов демократов, сенатор Габрман.

В связи с юбилеем «Воли России» он вспомнил, как в девятых годах прошлого столетия, среди французских социалистических деятелей, группировавшихся вокруг журнала «Справедливость», возникла мысль о создании «Славянского революционного союза». Тогда то Габрман познакомился с русскими социалистами революционерами и даже оказывал им помощь, доставая чешские паспорта для тех, кого собирались послать на революционную работу в Рос-

сию. В числе его новых друзей был и Лавров и многие другие видные русские деятели.

«В то время и я, сказал сен. Гербман, как и вы, был эмигрантом, и прожил 10 лет на чужбине. Я думаю, что не ошибусь, если выражу мой взгляд на смысл и характер вашего вынужденного изгнания, и сравню его с моим личным опытом. В 1887 г., осужденный на 4 года каторги за «государственную измену», я бежал от преследований полиции за границу, решивши поехать в Париж и Америку с 50 золотыми коронами. До Страсбурга я доехал почтовым поездом, и должен был там заработать на билет до Парижа. Через два года мне удалось попасть в Америку. Но ни там, ни в Париже я не заботился о моих материальных успехах. Я всецело отдался пропаганде социалистических идей, что было особенно трудным и неблагодарным делом в практической Америке. И когда в 1897 г. я возвратился на родину, у меня в кармане было две короны. И вы тоже, не заботясь о своем материальном устройстве, живете в изгнании ради осуществления ваших идеалов и стремлений, все силы отдавая на распространение ваших идей.

С детства я ненавидел габсбургскую монархию и горячо чувствовал идею свободы, прогресса и социальной справедливости. А теперь с радостью могу сказать, что дожился осуществления многих наших чаяний, которые не так давно казались романтическими и несбыточными. Я дождался падения габсбургской монархии, изгнания габсбургов, политического освобождения моего народа и создания его независимого самостоятельного государства, Чехословацкой республики. Не боясь показаться нескромным, скажу что за время моей пятилетней министерской деятельности в качестве министра народного просвещения и социального обеспечения, мне удалось многое осуществить для рабочего класса, выполнив часть пожеланий молодости.

И вам от души желаю дожждаться хотя бы частичного осуществления ваших идеалов, во имя счастья вашего народа, во имя демократии, прогресса и социализма. Я оптимист и верю в это. Верю и в то, что мы еще с вами встретимся в Москве или Петрограде — и вы тогда будете не изгнанниками, а будете продолжать вашу работу, как деятели свободной демократической, прогрессивной и социалистической России».

Ряд речей на чешском языке произнесли сен. Пламинкова, представительница партии чешских социалистов, говорившая о связи русского социалистического движения с чешским и о роли, сыгранной редакцией «Воли России» в Праге в этом направлении. Соц. дем. вице-председатель сената Соукуп в прочувствованном слове отметил неустанную работу журнала и его значение, указав на место, занимаемое им не только в русской, но и мировой социалистической прессе.

От имени сотрудников приветствовал редакцию В. Г. Архангельский:

«Издавать журнал, ставящий своей задачей предельно ясное освещение самых острых проблем современной жизни и указание выходов из жизненных противоречий, дело вообще не легкое. Но издавать такой журнал на чужбине, среди потрясенной революцией русской эмиграции, с самого начала взять верный тон, расположить события в определенной перспективе, занять четкие позиции и суметь привлечь к себе внимание широкого круга читателей как здесь, так и в России, — эта задача необычайной трудности.

И вот я, один из читателей «Воли России» должен заявить здесь, на нашем скромном торжестве, что эта задача разрешена в настоящее время редакцией журнала во всей полноте.

Пять лет тому назад русская эмиграция в огромном своем большинстве была еще обвевана дымом гражданской войны. Она принесла сюда, за границу, горечь несбывшихся надежд, тяжесть воспоминаний о поражениях и невозвратных потерях, остроту отчаяния, ненависти и злобы не только против большевиков, но и против всего русского народа, против всей русской революции. В преобладающем своем большинстве она была пропитана сентиментально - романтическим преклонением пред белой армией, надеждой на интервенцию Европейских держав в Россию и твердой верой в то, что только на путях вооруженной борьбы с большевиками и «взбунтовавшимся русским народом» лежит залог спасения России и восстановления сметенной революцией социально-политического строя.

Теперь, после пятилетнего пребывания на чужбине, особенно ярко видишь всю призрачность и бесплодность надежд эмиграции на восстановление дореволюционного строя. Но пять лет тому назад, большинству этой эмиграции это было далеко не ясно. И нужно было обладать большим запасом морального мужества и политической дальновзоркости, чтобы эмигрантскими фикциями дореволюционной психологии и утопического романтизма противопоставить твердый реализм понимания совершившихся и совершающихся в России социально-политических процессов и в течении пяти лет неустанно звать своих читателей от переживаний дореволюционной психологии к переживаниям психологии пореволюционной.

Журналу «Воля России» удалось это сделать.

В течении пяти лет «Воля России» беспощадно разоблачала бессмысленность попыток силой вернуть Россию на старые, разрушенные революцией, пути. Она призывала своих читателей осознать, как неустрашимый факт пореволюционной русской жизни, те колоссальные сдвиги и перемены, которые произошли в России, и во всех своих прогнозах и практических мероприятиях исходить из того колоссального переворота, который за время революции произошел в сфере

материальной и духовной жизни народа. При полном отрицании всех попыток реставрации со стороны эмиграции, «Воля России» за все время своего существования обнаруживала в то же время и полную непримиримость к установившейся в России диктатуре коммунистической партии. Внимание своих читателей «Воля России» всегда привлекала к глубинным процессам, совершавшимся, вопреки коммунистической диктатуре, в трудовых классах пореволюционной России. Под мертвящей оболочкой диктатуры коммунистической партии она видела пробуждение новых жизненных токов. В вере в творческие силы великого русского народа и в изучении пореволюционных напластований и сдвигов советской России она призвала своих читателей находить стимулы для построения своих политических программ.

Пять лет тому назад призывы «Воля России» находили свой отклик среди небольшого круга читателей. В настоящее время логика жизни заставила признать правильность позиций нашего журнала даже значительные число право — эмигрантских групп. Не мало читателей и друзей находит журнал и там, в советской России. Но основная работа, которой посвящает свое преимущественное внимание «Воля России», далеко еще не закончена. Она будет продолжаться еще некоторое время здесь, в Чехословакии, но свое полное завершение найдет она там, в России, среди русского народа, начинающего осознавать непререкаемое значение тех ценностей, которым в настоящее время служит «Воля России». Мы верим, что это время уже близко!»

В. Ф. Булгаков, председатель Союза журналистов и писателей в Чехословакии, указал в своей речи, что его, как толстовца, всегда привлекали в «Воле России» дух свободы, веющий в журнале, и тот идеализм, который проникает всю его позицию. Идеализм в лучшем смысле этого слова не есть какая либо философская система: это признание каких то высших ценностей, ради которых стоит жить и умирать, это святой утопизм, стремление сделать жизнь выше и чище и осуществить в ней то, что сегодня с насмешкой называют утопией, но что завтра будет признано всем миром.

От имени молодых писателей и поэтов **В. Федоров** поблагодарил редакцию за то исключительное отношение, которое они встречают со стороны журнала. «Воля России» единственный орган в эмиграции, привлекающий к себе молодых писателей, бережно к ним относящийся и поддерживающий все их начинания и первые литературные шаги. Молодые писатели особенно ценят независимость журнала, смелость его литературной позиции и полное отсутствие в нем кружковщины и той сектантской замкнутости, которая убивает дух живой в эмигрантских журналах.

С. П. Постников в веселой форме определил «требования сотрудников к редакции» и рассказал о впечатлении, произведенном первыми номерами журнала в России.

Приветственные речи произнесли также украинский с. р. С. Григорьев и А. Цаликов.

После ряда речей были зачитаны некоторые из полученных редакцией приветственных телеграмм и писем. Последовавшая после чая непринужденная и живая беседа затянулась до позднего вечера.

Недостаток места не позволяет опубликовать многочисленные поздравления от организаций, отдельных лиц и сотрудников, присланных в редакцию к юбилейному дню. Редакция «Воли России» благодарит всех, кто в той или иной форме приветствовал журнал по случаю пятилетия его издания.

ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ

Англия и Китай *)

Пробуждение Китая факт — никем более не оспариваемый. Для этого надо было, чтобы оно приняло громадные размеры и стало резать глаза тем, кто не желал его видеть. Люди, прежде отрицавшие пробуждение Китая делают сейчас смешные усилия, доказывая обратное, желая прослыть первыми, возвестившими о нем широкую публику. Они поистине прозрели слишком поздно. Национальное пробуждение Китая в действительности началось не со вчерашнего дня. Оно наблюдается уже в начале прошлого столетия, правда в несколько своеобразной форме антидинастического движения. Но уже в середине XIX века это движение принимает более четкий характер под руководством Кьянг-Ю-Вей, Лиянг-Чи-Чао и других, затем оно окончательно оформляется и с великим Сун-Ят-Сеном находит свою настоящую дорогу. Мы не станем описывать подробно этого движения, предполагая написать о нем специальную статью в «Воле России».

Что же предприняла по отношению к нему Англия, с самого начала встретившая его с чрезвычайной враждебностью. Если мы ставим на первый план Англию, то это потому, что она всегда действовала на Дальнем Востоке, и особенно в Китае, таким образом точно имела полномочие от других так называемых Великих Держав. Последние, впрочем, почти всегда позволяли ей выступать от их имени, что естественно, должно было быть нами истолковано как их согласие. Мы не нарушим никакого секрета, если скажем, что эти другие Державы также не очень благосклонно встретили пробуждение Китая. Когда иностранные «советники» отпавлялись в Китай по приглашению Китайского Пра-

*) Настоящая статья написана для «Воли России» уполномоченным Китайского правительства Сие-Тон-Фа. Интерпретацию фактов, даваемую в этой статье, редакция оставляет на ответственности автора.

Редакция.

вительства, возымевшего такую несчастную идею, им обычно давалась одна общая директива, «главное — не просвещайте китайцев». Но Китайский народ был более практичен, чем его собственное Правительство, — он сам себя просветил. Помогай себе сам и небо тебе поможет.

Сотни и тысячи наших молодых людей по возвращении из-за границы, где они проходили высшие школы, стали на родине вожакими национального китайского движения. Недаром против них было направлено столько негодования, недаром их всячески старались опорочить. Но интеллигенция остается интеллигенцией: будь она китайская или иная, она руководит всегда судьбами своей страны.

Китайская молодежь, цвет наций, поведет нашу родину, мы уверены в этом, к лучшему будущему, по путям прогресса.

Англия, сказали мы, была заинтересована в том, чтобы не допустить пробуждения Китайского народа. Она постепенно свела на нет свободу внешней политики Китая; затем наполовину парализовала его внутреннюю экономическую свободу, взяв под опеку его таможи и финансы и т. д. (Опиум, односторонние договоры, экстра-территориальность, концессии, таможенные тарифы, монополии, займы, консорциумы иностранных банков и т. д.). Чувствуя, что пробуждение Китая принимает опасное для ее господства формы, в особенности после революции 1911 года и провозглашения республики в 1912 году, Англия в течение последующих лет не щадит своих усилий для борьбы с ним.

Сначала то была попытка монархической реставрации, причем старому Юан-Ши-Каю стремившемуся сделаться императором, оказывалась могучая поддержка. И здесь также все прочие великие державы действуют согласно с Англией, поддерживая попытку реставрации. В высшей степени замечательно, как быстро западные державы становятся солидарными, когда речь идет о сохранении на Дальнем Востоке, в особенности в Азии, рутины, невежества, реакции, в то время как эти же державы у себя дома выступают как чемпионы права и справедливости. Делай то, что я тебе приказываю, но не делай того, что я сам делаю. В этой борьбе Китайский народ оказался однако сильнее, его воля восторжествовала и республиканский режим был сохранен. Юан-Ши-Кай создал однако тукунгов (военных губернаторов) опять таки по наущению иностранцев. Нет никакого сомнения теперь — в этом довольно динично признались и сами заинтересованные, что эта борьба генералов, т. е. тукунгов, которая нарушала в течение последних лет внутренний порядок в Китае, никогда не приняла бы таких размеров и не длилась бы так долго без открытого или прикровенного вмешательства иностранных государств в китайские дела. Деньги, оружие, и даже наемники доставлялись ими. Все эти, в той или иной мере под-

купленные генералы, работали на иностранные державы. Враждебные китайскому пробуждению они ввергнули страну в состояние длительных беспорядков и волнений и препятствуют сохранению единства Китая. Это было простое применение старого метода английской политики — разделяй и властвуй.

Пока длилась эта внутренняя борьба в нашей стране, подробностей которой мы не станем здесь описывать, за границей создавалась атмосфера антипатии по отношению к Китаю. Нашу родину старались всячески опорочить, но несмотря на самую беззастенчивую кампанию лжи, правда все-таки восторжествовала. Англичане пытались несколько раз увлечь за собою все державы в большую, так называемую интернациональную экспедицию против Китая. В 1912-1923 году предложено служил «бандитизм», вспыхнувший в Китае точно по мановению волшебного жезла и также внезапно исчезнувший с китайской сцены. Потом стали пугать ксенофобией китайцев. До сих пор «ксенофобия» продолжает служить средством для возбуждения иностранного общественного мнения против нас. Затем создали третье пугало — большевизм. Этому продолжают еще верить в Европе, хотя обвинение в большевизме настолько же основательно, как и предыдущие выдуманные предлоги. Потом вдруг наступает резкий поворот: Англия меняет свои позиции, но только по видимости. Уж нет больше речи ни о «красной армии», ни об «армии бандитов и головорезов», но зато усиленно заговорили о «националистической» армии. В несколько часов мы переродились.

Двойственная политика Англии в Китае впрочем подтверждается и ее теперешними действиями, ее двойной игрой одновременно с северным и южным китайскими правительствами, сопровождаемой усиленной отправкой военных сил, якобы для защиты Шанхая. Англия, упорствующая в применении своих традиционных методов в Китае, не должна была бы однако забывать — об этом достаточно свидетельствуют европейские события и то, что происходит внутри самой Англии и даже Британской Империи — что все сильно изменилось после великой войны 1914-18 года. Разве не видит она, что ось гегемонии переместилась, разве не чувствует она, что ее мировое положение пошатнулось, что ее азиатские позиции уже не так прочны? Воображает ли она на самом деле, что упорствуя в своем стремлении остаться беспощадным угнетателем народов Азии, она сможет сохранить полностью свое сильно уже поколебленное преобладание на Дальнем Востоке?

Если бы Англия отказалась от своей двойной игры в Китае, если бы она стала играть в открытую, она могла бы обеспечить еще для себя великое будущее. Пусть вспомнит она судьбу Испании и Голландии, величие которых в свое время ослепляло мир.

Пять роковых дат отмечают политику Англии последних лет, направленную к подавлению китайского пробуждения. Но эта политика не достигла цели, а лишь усилила наше движение. Эти даты не являются счастливыми для Великобритании, но для нас они были спасительными. Они послужили как бы последним ударом бича, который заставил нас окончательно сорваться с места. Национальное движение с молниеносной быстротой распространилось по всему Китаю, от севера до юга, от востока до запада. Это было для нас незабываемое время, великий час нашей истории, когда весь китайский народ без различия партий возмутился против своих оскорбителей. В этот момент высшего напряжения наш народ смог осознать себя, он почувствовал, что об'единение сил даст ему огромную мощь.

Убийство китайских студентов английской полицией в Шанхае 30-го мая 1925 года явилось одним из событий, отметивших наше пробуждение. Ни один китаец никогда его не забудет, как и убийства студентов 23 июня в Кантоне на китайских набережных напротив концессии Шамин. После этого начался бойкот против Англии, принявший совершенно невиданные размеры, бойкот длился целых два года и до сих пор еще не кончился. Англия потеряла не только свой престиж, но и почти все свои экономические позиции в Китае, которые впрочем очень быстро захватываются другими, в первую голову Японией. Был период, когда Гон-Конгский порт терял до 300.000 фунтов стерлингов в день по признанию самих англичан. И однако Англия продолжала против нас свою опасную игру. Два раза по ее наущению Япония вооруженным вмешательством парализовала победу юга. В 1924 году под Мукденом (две дивизии японской армии загорюдили дорогу на Мукден, под предлогом охраны японских подданных, живущих в этом городе), — она спасла Чан-Зо-Лина от окончательного поражения. И затем несколько месяцев спустя в Таку, занятом японскими миноносцами, под предлогом охраны свободы судоходства на Пейю, в действительности же для того, чтобы открыть путь для войск Чан-Зо-Лина, блокированных армией Фенг-Ю-Сьянга.

В прошлом году англичане применили ту же тактику, но на этот раз они уже действуют сами, на Янг-Це, в так называемой английской сфере влияния. (Это чисто иностранное изобретение, потому что мы не признаем ни за кем никаких зон влияния). События в Уанг-Сине не могут быть истолкованы иначе, как попытка англичан обходным путем помешать победе южных армий, оказав на них давление путем посылки своих судов на Янг-Це.

28 октября 1926 года, когда после победы национальной так называемой Кантонской армии северные войска отступали в беспорядке, две китайские лодки, нагруженные солдатами, бы-

ли потоплены английскими пароходами. Китайские власти захватили эти пароходы, после переговоров с британским консулом и с его согласия, на предмет производства расследования. Внезапно 5-го сентября, без всякого предупреждения, канонерки «Soclahefer», «Widgeon» и «Kiawo» появились перед открытым и незащищенным городом Уанг-Сине и открыли против него жестокий огонь из всех своих орудий, превращая в пепел дома и убивая тысячи китайцев, мужчин, женщин, стариков, детей, убегающих в паническом ужасе. Инцидент был создан, началась немедленно классическая кампания в иностранной прессе с яростными обвинениями в ксенофобии, большевизации и т. д. Китайцы убивают всех иностранцев, не дадим себя истребить и т. п. Иностранные канонерки появились на Янг-Це и бросили якорь у Хан-Коу между сражающимися. Можно было опасаться новых инцидентов. Случайно залетевшими пулями было убито несколько французов, но нам удалось, благодаря добрым намерениям и искренности французских представителей уладить дело без особых осложнений.

С сентября по январь ничего особенного не произошло. Англичане тогда выступили с своим знаменитым меморандумом, после неудачных переговоров их посла, который специально ради этой цели приезжал в Хан-Коу, Англичане вряд ли с самого начала сомневались в результате. Сама процедура передачи этого меморандума была довольно странная, это был секрет Полишинеля для всех иностранных канцелярий, которые заранее уже, более или менее наметили свои позиции. Меморандум был передан дипломатическому Корпусу в Пекине — всем известна роль, которую этот своеобразный блок играет в китайских делах — под тем предлогом, что иностранные правительства якобы незнакомы с его содержанием, хотя оно уже довольно подробно обсуждалось и комментировалось в общей прессе. Затем меморандум был вручен южному и северному Правительствам и лишь после того официально сообщен иностранным канцеляриям. При такой процедуре провал меморандума был заранее обезпечен. Цель английской дипломатии заключалась в том, чтобы показать свои добрые намерения, а также, что все мирные способы воздействия на китайцев ею уже использованы. Китайцы рассматривали меморандум как ловушку. В этом, впрочем, никто не сомневался. Китайцы его отвергли. Затем одна за другой отвергли его и сами заинтересованные державы.

Британское Правительство продолжает упорствовать в своей линии. Под предлогом чрезвычайно раздутых событий в Хан-Коу и опасности якобы угрожающей Шанхаю, оно отправляет в Китай войска, концентрирует в китайских водах военный и воздушный флоты и старается делать это с возможно большим шумом. Однако положение слишком ясное, чтобы можно было ко-

го-нибудь ввести в заблуждение, ибо нет ни состоянния войны, ни даже угрозы войны. Остальные державы остаются каждая на своей позиции, выдвигая свои специальные и различные аргументы. Соединенные Штаты, мы это знаем, всегда воздерживались от военного вмешательства в Китае; они всегда получали свои привилегии вслед за Англией, пользуясь выгодой общности языка. В настоящее время Америка прекрасно знает какие чувства воодушевляют китайский народ, она желает оставаться на строго коммерческой почве. Япония как будто бы желает вернуться в Азиатский мир. После своей длительной экскурсии в Европу она начинает понимать, наконец, что ее основные интересы не вдали, а вблизи нее. Ее политика по отношению к Китаю сильно эволюционировала за последние годы. Добившись максимума территориального распространения в Азии, Япония как будто начинает задумываться над своей судьбой. Во всяком случае она знает, что ей нужно теперь считаться с Китаем, который очень быстро обновляется; она знает также, что ей нужно весьма считаться и с Россией, ибо и мы и Россия являемся ее двумя наиболее важными и непосредственными соседями. Франция, с своей стороны, добивается влияния на выбранной ею почве, т. е. она стремится сохранить в Китае свою моральную позицию, основанную на интеллектуальном общении и, повидимому, ничто не угрожает нарушить дружественное отношение между Францией и Китаем.

Китайский вопрос, который пытались умышленно запутать, чтобы можно было кричать об анархии и разложении, а также для того, чтобы вызвать попытку интернационального вмешательства для подавления силой китайского пробуждения, для нас, которые являются наиболее заинтересованной стороной, более чем ясен. Наше национальное пробуждение — факт неоспоримый. В данный момент национальное движение на нашей родине достигло необычайной силы и можно сказать что оно стало непобедимым. Отныне во всем, что касается национальных интересов Китая, нужно будет считаться с волею китайского народа. Эта воля, начиная с революции 1911 года, проявилась с такой настойчивостью и твердостью, что иностранные державы должны были учесть создавшееся новое положение, хотя учитывали они его различно. Об этом свидетельствует двадцать одно условие, предъявленное Японии в 1915 году. Конфликт по поводу Квантунга в 1919 году, Вашингтонская конференция в 1921 году, Шанхайские события 30-го мая 1925-го года и события Уанг-Сиена 5 сентября 1926 года. Но мы надеемся, что у английского народа откроются глаза и что он сумеет заставить свое правительство проводить более разумную и более справедливую политику по отношению к другим народам.

Безпрерывная отправка войск и военных судов Англией

рассматривается нами, китайцами, как оскорбление достоинства нашего пробуждающегося народа, с которым пытаются обращаться, у него же дома, на его собственной земле, как с бунтовщиком и варваром. Англия ведет опасную игру. Она играет с огнем. Мы рассчитываем на то, что давление других держав воспрепятствует вооруженному иностранному вмешательству в Китае. Но мы раньше всего должны рассчитывать на самих себя, на мудрость вождей нашего народа и самого народа, чтобы избежать подобной катастрофы. Китайский народ не питает никаких враждебных чувств к английскому народу, как, впрочем, и ни к какой другой нации. Пусть английский народ поймет опасность, которой он сам подвергается, пусть он прекратит немедленно отставку войск в Китай и вернет обратно те военные силы, которые находятся уже в пути. Китайская мудрость гласит: «если ты действительно желаешь мира, не воюй и не готовься воевать. Укрепи мир в твоём собственном сердце и откажись от войны. Она никогда не бывает необходимой, она особенно опасна для тебя самого».

Др. Сие-Тон-Фа.

1/II 1927 г.

СОЦИАЛИЗМ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБ ОПАСНОСТЯХ ВОЙНЫ И О БОРЬБЕ ЗА ДЕМОКРАТИЮ.

12 и 13 февраля в Париже, под председательством Артура Гендерсона состоялось очередное заседание Исполнительного Комитета Социалистического Интернационала.

От партии с. р. присутствовал В. В. Сухомлин, от Р. С. Д. Р. П. — Р. Абрамович.

В порядке дня были вопросы об опасностях войны в Китае, в Америке и на востоке Европы и вопрос о борьбе за демократию против разных видов диктатуры и против политических преследований.

На заседании присутствовала особая делегация китайской социалистической партии, от имени которой Янг-Кантао представил доклад о положении в Китае и произнес речь с призывом поддержать требования китайской демократии.

Ниже мы печатаем полностью китайский доклад. В своей речи Янг-Кантао следующим образом охарактеризовал Кантонское правительство и национально - революционную партию Куо-Мин-Тан:

«Кантонское правительство не ксенофобское и не большевистское. Это — демократическое правительство, в котором преобладает партия Куо-Мин-Тан.

Эта партия состоит из трех групп:

1. Националистическая группа или правое крыло
- 2. Демократическая или левая группа, в данный момент наиболее влиятельная, объединяющее движение, направленное одновременно против пекинского правительства и против иностранных империалистов
3. Большевистская группа, влияние которой незначительно, ибо русские иностранцы, к тому же наиболее малочисленные.

Куо-Мин-Тан воплощает стремление к независимости, к которому примешивается требование политических свобод. В будущем, несомненно Куо-Мун-Тан расколется, ибо он является надпартийным или

многопартийным образованием, в котором различные тенденции уже теперь часто сталкиваются».

В дебатах по китайскому вопросу приняли участие Крэмп (Англия), ознакомивший И. К. с борьбой английских рабочих против похода на Китай, Брак (Франция), Абрамович, Броквэй (Англия), Модильяни (Италия) и Сухомлин.

В. В. Сухомлин в своей речи указал на то, что нельзя китайские события объяснить пропагандой большевиков. В Китае происходит затяжная революция, китайский народ пытается освободиться от иностранного засилия. Русское революционное движение начиная с 1905 года естественно оказывало влияние на освободительные стремления китайского народа. У России с Китаем около 5.000 верст общей границы. Русская интеллигенция, русский пролетариат сочувствует китайским революционерам. Любое социалистическое правительство России поддержало бы китайское национальное движение — разумеется, иными способами, чем большевики, ибо демократическая Россия была бы влиятельным членом Лиги Наций, располагала бы иными, более действительными средствами иностранной политики, чем третий интернационал. Большевики используют широко распространенные в России симпатии к китайскому освободительному движению.

Если китайские демократы пользуются помощью Сов. правительства, их нельзя в этом упрекать, ибо ни одно другое иностранное правительство не пришло им на помощь. Наоборот, все занимаются только тем, что поддерживают генералов, борющихся за власть, и разжигают гражданскую войну — для того, чтобы при их помощи укрепить свое господство. И даже социалистический, рабочий мир Европы долгое время совершенно не интересовался китайскими событиями, предоставив коммунистам одним вести пропаганду в Европе за освобождение Китая. Русские социалисты не раз обращали на это внимание своих западно-европейских товарищей. Теперь большевики приобрели, повидимому, известное влияние в некоторых китайских кругах. Но не следует преувеличивать его значение. Турки тоже в свое время использовали коммунизм. Однако, Кемаль паша и не думает следовать примеру Ленина. От политического такта китайских революционеров, от их государственной мудрости будет зависеть исход китайского движения в гораздо большей степени, чем от влияния Москвы.

Затем, Тополович (Югославия) сделал сообщение об итало-югославянском конфликте в дополнение к подробному докладу, представленному его партией.

Отто Бауэр (Австрия) подробно остановился на опасностях восстановления Габсбургов и на агрессивных планах венгерских реакционеров.

Он очень энергично наставлял на том, чтобы державы и Лига Наций следили за выполнением Венгрий трианонского мирного

договора в части, касающейся разоружения и обязательств, принятых ею в 1921 году о недопущении реставрации Габсбургов.

Пятичленная комиссия выработала затем текст манифеста, который мы печатаем ниже.

Положение в странах, «лишенных демократии», было подвергнуто подробному обсуждению.

Делегат латвийских с. д. Калнин сделал доклад о литовском перевороте, Модильяни от имени итальянской партии наставлял на необходимости международной борьбы за демократию и вмешательства Лиги Наций для восстановления свободы и конституционных гарантий в Италии, ибо фашизм представляет собой международную опасность.

Абрамович указал на то, что террор в Советской России продолжается и преследования социалистов не только не слабеют, но, напротив, скорее усиливаются.

Церетелли сделал сообщение о преследовании грузинских социалистов.

Недзялковский и Даманд охарактеризовали режим, введенный в Польше Пилсудским, как «личный режим с налетом старомодного романтизма, опирающийся на армию, часть крестьянства и среднегородских слоев»; не будучи откровенно реакционным (подлинные фашисты находятся в оппозиции), он объективно является угрозой для демократии, польские социалисты ведут с ним борьбу.

В результате прений были приняты следующие две резолюции:

Исполком РСИ констатирует, что победа фашизма и реакции в ряде стран (Италия, Венгрия, Румыния, Литва и др.) не только понижает жизненный уровень рабочих и угрожает всем их социальным завоеваниям, но и уничтожает все демократические права и политические права и политические свободы и тем создает режим деспотизма, который возвращает эти страны к худшим временам абсолютизма: массовые аресты, интернирование в самых жестоких условиях, административная ссылка и концентрационные лагеря для собственных граждан, — а подчас даже и зверские казни.

Исполком РСИ протестует самым пламенным образом против ужасов и преступлений фашизма и призывает всех рабочих мира, равно как и всех демократически настроенных граждан попрежнему неутомимо и непримиримо бороться против политического порабощения масс и бесчеловечной системы политических преследований и всеми силами приходить на помощь многочисленным жертвам фашистского террора.

Борьба против ужасов реакции, которая ведется РСИ, в необычайной степени затрудняется тем фактом, что и в Советской России в особенности в Грузии с неослабевающей силой продолжается политика террора, превращенная в постоянную систему. Исполком в част-

ности считает нужным заклеить политику Сов. правительства, ввергающего тысячи социалистических рабочих, крестьян, интеллигентов в тюрьмы, ссылающего их в Сибирь, а иногда еще на Соловецкие острова, только за то, что они отстаивали свои социалистические убеждения, и устанавливающего в местах заключения режим, который имеет целью физическое истребление заключенных.

Исполком самым резким образом осуждает эту варварскую и бессмысленную систему террора, наносящую непоправимый вред как пролетариату Советского Союза, так и интересам всего международного социализма, и призывает все примыкающие к РСИ партии, в особенности социалистическую прессу, использовать всякий случай для того, чтобы помочь заключенным товарищам и добиваться всеобщей амнистии и отмены системы террора в Советском Союзе.

Исполком поручает Бюро разработать конкретное предложение относительно организации помощи заключенным и приглашает центральные комитеты примыкающих к РСИ партий назначить специальные комиссии, которые имели бы своей целью заботиться об усилении фонда Маттеоти.

Исполком приглашает все примыкающие партии использовать празднование 1-го мая для организации массовых сборов в пользу фонда Маттеоти.

Исполком РСИ назначает Комиссию, имеющую своей целью исследовать положение политических заключенных в разных странах. Эта Комиссия должна затребовать подробные доклады от социалистических партий этих стран, примыкающих к РСИ. Что касается Советской России и Грузии, то Комиссия должна попытаться сверх того принять меры к тому, чтобы получить непосредственную информацию на месте.

Итальянское предложение (о вмешательстве Лиги Наций) встретило ряд возражений, в частности со стороны английской делегации.

Модильяни во время дебатов сделал новое предложение, которое будет сначала обсуждено международным бюро.

Вельс (Германия) представил Исполкому документальные доказательства изготовления в России снарядов для германской армии и нелегальных националистических организаций.

Германская и французская партии издадут брошюры об этих сношениях между большевиками и немецкими черносотенцами.

КИТАЙСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Доклад китайской делегации Исполкому Социалистического Интернационала.

Система концессий и экстерриториальных привилегий, основанная на несправедливых договорах, отравляет внутреннюю жизнь Китая и его международные сношения.

Необходимо вкратце напомнить об их происхождении и указать на их последствия, пагубные для международного мира, для развития социалистического движения и для мирной эволюции китайского народа.

Как возникло существующее положение.

Нам незначит излагать историю внешних сношений Китая, начиная с Нерчинского договора 1639 г. с Россией, аннулированного впоследствии.

Отправным пунктом теперешних взаимоотношений между Китаем и другими державами был **Нанкинский договор** 29 авг. 1842, заключенный с Англией после войны из-за опиума. Как известно, город Кантон был подвергнут бомбардировке за то, что отказался пропустить на свою территорию этот яд. Китай был вынужден уплатить 21 миллион долларов контрибуции.

Затем последовали договоры 1843 г. с Англией, 1844 г. с Францией и Соединенными Штатами, основавшие систему концессий и экстерриториальности.

Они были еще ухудшены после франко-английской кампании 1857-1859 г. (пожар Летнего дворца), закончившейся договорами 1859 и 1860 гг.

Франция заставила Китай принять новые ограничения своих прав на собственной территории после кампании Тонкинской и Формозской: договор 1884 г.

Китайско-японская война, показавшая военную слабость Китая (1894-1895), открыла новую эру погони за концессиями, получаемыми в аренду.

Первая воспользовалась ими Германия, получавшая Киао-Чеу затем Россия — Порт-Артур и Та-Лиенван, Англия — Вай-Хай-Вей и Кио-Ланг, Франция — Куан-Чеу-Ван (1898) и даже Италия пыталась получить — безуспешно — бухту Сан-Ман.

При помощи угроз и внешнего давления ряд экономических, коммерческих, индустриальных концессий был вырван в пользу разных иностранцев.

В силу этого боксерское восстание (1900), носившее по существу манчжурский правительственный характер, могло использовать народное возмущение иностранцами. Оно закончилось 7 сент. 1901 г., доведшим иностранное господство над Китаем до высшего предела.

С этого момента у угнетенного и униженного китайского народа начинается пробуждаться политическое сознание и стремление взять в свои руки государственные дела. Отсюда возник политический кризис, приведший через 10 лет к революции 1911.

Начиная с этого памятного года, китайский народ начинает представлять считаться с собой и не ксенофобия, а сознание права на самостоятельность руководит его сопротивлением иностранному засилью.

Как пример, можно привести знаменитые 21 требование Японии 1915 года, которые так и не были выполнены и должны были быть пересмотрены.

Последствия.

Контроль над таможнями, установленный в 1842 и в 1858 годах англичанами и французами, установил единый максимальный тариф в 5% *ad valorem* на все товары. Это уже было само по себе серьезным нарушением прав и интересов, как Китая, так и других стран. Но кроме того стоимость товаров устанавливается **каждые десять лет** международным соглашением. Такие соглашения имели место в 1859, в 1912, в 1918. Расценки могут быть изменены лишь по **единогласному** решению заинтересованных (имеющих концессии) государств в конце каждого десятилетия. Но в виду того, что договоры с различными странами были заключены в разное время, сроки прекращения их действия никогда не совпадают, и каждое государство под предлогом того, что дата, указанная для пересмотра, пропущена, сохраняет старые расценки на новое десятилетие. Таким образом, в течении почти 50 лет — от 1858 до 1902 — не было возможности заключить новое соглашение. Нам незачем объяснять, что эта искусственная стабилизация при колебаниях цен на товары тяжело давит на развитие китайской промышленности и на китайские финансы.

Что касается привилегий экстерриториальности, достаточно указать на их характер, чтобы понять, что они не только превращают Китай в колонию, но и создают постоянную почву для конфликтов между иностранными державами.

Консульская юрисдикция, созданная статьями 15, 16 и 17 Тьен-Тсинского договора (1858) с Великобританией, заменившая договор 1843, статьями 21 и 25 договора 1844 с С. Штатами, статьями 25, 27 и 28 договора того же года с Францией, применяет к одним и тем же фактам различные законодательства в зависимости от национальности обвиняемого; бессильна получить свидетельские показания от лиц различных национальностей; делает невозможными беспристрастные решения.

Смешанные суды в концессиях лишают китайских судей их прав не только по отношению к иностранцам, но и по отношению к китайцам, проживающим на территории концессий.

Иностранные державы привыкли, таким образом, рассматривать Китай, как легкую беззащитную добычу, что привело к тому, что после окончания войны в 1919 году у него был отнят Шантунг.

Возрождающийся народ не может долго терпеть подобный гнет.

Положение рабочего класса.

Подчиняясь лишь своим собственным законам, поддерживаемые своими консулами, иностранные капиталисты обратили китайский пролетариат в подлинное рабство.

Капиталистический гнет усугубляется гнетом иностранным.

Из 1.740.556 веретен, действующих в хлопчатобумажных прядильнях Шанхая в 1925 г., 962.432 принадлежали англичанам и японцам. Условия труда в них ужасны.

Как на пример можно указать на эксплуатацию детей ниже 12-летнего возраста.

В одной из английских фабрик *The British Yangtzepoo-Cotton-Mill* на 3.800 рабочих имеется 700 мальчиков и девочек моложе 12 лет. В самой большой китайской прядильне *The Sansing Cotton-Mill* количество работающих детей значительно меньше, хотя все же их через чур много: 430 на 5.339 рабочих.

Нужно ли прибавлять, что в силу законов конкуренции эта привилегия сверхэксплуатации, обеспеченная иностранцам, препятствует применению в предприятиях, руководимых китайцами, законов, охраняющих детей?

Шанхайские фирмы работали обычно в две смены, дневную и ночную. Заработная плата — нищенская. Иностранные мастера обращаются с рабочими грубо.

Иностранцы защищены своими армиями, флотом, волонтерскими отрядами, организуемыми капиталистами, которые получают оружие от правительства.

Нужно ли напоминать о печальных шанхайских событиях (май 1925), когда во время стачек текстильщиков английские насилия и расстрелы вызвали возмущение всего китайского народа?

Гражданская война.

Иностранные империалисты, действуя то совместно, то друг против друга, поддерживают и затягивают гражданскую войну в Китае.

После мировой войны внутренняя борьба, которую вели между собой У-Пей-Фу и клуб Ан-Фу (японофильский), руководимый в 1920 г. генералом Су, была отражением борьбы между Англией и Америкой, с одной стороны, Японией, с другой.

Во время войны Япония воспользовалась затруднениями других держав для того, чтобы стать в Китае главной империалистической силой. Она захватила принадлежавшие ранее Германии территории — провинцию Шантунг и значительную власть Тсин-Так. Путем давления на президента Юан-Ши-Кай, северного диктатора, которому Япония предъявила свои 21 требование, она захватила угольные копи и железные дороги. Японский государственный банк получил привилегию финансирования китайской промышленности. Япония получила право посылать своих инструкторов в китайскую армию. Ея советник Ми проведен в министерство иностранных дел Китая. Одним словом, в результате войны Япония приобрела преобладающее влияние на хозяйственную и политическую жизнь Китая.

По окончании войны Англия и Америка решили снова заняться

китайскими делами. Они столкнулись там с Японией, значительно усилившейся и успешно ведущей с ними борьбу за рынки. Чтобы устранить этого соперника они прибегли к соперничеству китайских генералов.

В 1922 году повторилось отчасти то же положение, что в 1920. В чем причина конфликта между У-Пей-Фу и Чанг-Со-Лином?

Буржуазия Шантунга, привыкшая идти на помочах у влиятельных иностранцев, была лишена немецких капиталов. Шантунг являлся лакомой добычей. С другой стороны, английский и американский капитал хозяйничают в больших торговых городах, английский — в центральных провинциях, японский — в Манчжурии. Отсюда — препятствия для централизации управления.

Чанг-Тсо-Лин, господствующий в трех восточных провинциях, связанный как содержанием своей армии, так и своими доходами с китайским купечеством, в особенности с хлеботорговцами (вывоз манчжурского зерна), связанный также при посредстве китайского торгового капитала с Японией стремится расширить свои владения. Ему нужно одновременно увеличить свою армию, обеспечить пути сообщения и укрепиться на уже завоеванной территории.

С своей стороны, У-Пей-Фу стремится расширить свое влияние к северу и югу.

В этом и заключается столкновение интересов китайских военных вождей. Но размеры их конфликта были бы гораздо менее значительны, если бы иностранные империалисты не разжигали их.

Каков смысл борьбы 1924 года между северным и центральным Китаем?

Иностранные империалисты, под предлогом охраны имущества и жизни иностранцев начинают грозить. Они требуют расширения нейтральной зоны, иностранного контроля над железными дорогами и т. д.

В то же время они провоцируют новые волнения.

Американцы, пользуясь ослаблением Японии в результате землетрясения, разжигают борьбу между У-Пей-Фу и Чангом. Совместно с Англией Америка стремится уничтожить влияние японофильской партии Ан-Фу в Че-Кiangе, губернатор которого номинально властвует над Шанхаем — шестым портом мира по своим оборотам, через который проходят 60% китайского вывоза.

Вот почему очаг борьбы между северным и центральным Китаем находится на границах зон влияния Японии, Англии и Америки, на перекрестке, где скрещиваются интересы иностранных империалистов — вблизи Шанхая и Шан-Гай-Куана.

В 1924 году Чанг-Тсо-Лин победил У-Пей-Фу, которому изменил Фенг-Ю-Сианг. Японское влияние усилилось на севере, и Англия пыталась укрепиться в центральном Китае.

Затем Фенг, при поддержке советского правительства пытал-

ся свергнуть Чанга, объединившегося с У-Пей-Фу для борьбы с его якобы «красной» армией.

Союз между Чангом и У-Пей-Фу продолжался и против кантонского правительства, которое Москва делает вид, что поддерживает. Фенг был вынужден бежать в Россию.

Кантонская армия, опирающаяся на демократическое пробуждение народа, восставая против пекинского правительства, сражается одновременно против китайских милитаристов и иностранных империалистов.

Среди книг и журналов

ЧЕТВЕРТЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

(О кн. Дж. Уэлса: «Мир Виллиама Клиссольда»).

Уэлс, как художник, всегда сидит между двумя стульями, а это не совсем удобное положение: он беллетрист, но он же и глубокий мыслитель, и никак не может усесться так, чтобы занять определенное место. Конечно, и мыслителю нужно воображение, как и беллетристу — мысли, но все же есть разница, и пренебрегать ею и смешивать одно с другим не следует: роман так роман, рассуждение, так рассуждение. Эта неопределенность и некоторая разбросанность Уэлского творчества очень повредили последнему «роману» его, заглавие которого нами дано выше. Под этим заглавием значится подзаголовок: «Роман при новом повороте (at a new angle)». На самом деле Гоголь с куда большим правом назвал «Мертвые души» поэмой, чем Уэлс «Мир Клиссольда» — романом. Романического в нем очень немного, и то, что там есть от романа, очень скучно. Но там очень много суждений, много мыслей — и все они сверкают смелостью, оригинальностью и свежестью, точно играющие всевозможными переливами рассеянные по лугу капли росы в лучах раннего утра. Увы! весьма возможно, что сравнение это идет даже дальше, чем в смысле похвалы: возможно, что и мысли Уэльса могут отказаться так же эфемерны, ложны, обманчивы при более глубоком анализе, как и блеск росы при более горячих и ярких лучах солнца. Но как бы там ни было, читаешь их с наслаждением. Что же касается подзаголовка «Роман при новом повороте», то он только произвел сумятицу в английской критике, разразившейся по этому поводу совершенной разногласицей.

В виду того, что эта разногласица характерна не для кри-

тиков, очень опытных и понимающих, а для самого романа, подавшего повод к ней, приведу здесь несколько наугад взятых отзывов, очень кратких, хотя и выписанных из обширных рецензий:

кончает рецензент «Morning Post».

«С мистером Уэлсом покончено» Edit Mr. Wells так «Книга удивительная... Роман этот одна из самых крупных вещей одного из самых наших крупных людей». (Star).

«Клиссолд умер и, полагая, приходится говорить о нем с подобающим к мертвым уважением. Но как роман — он скучен... «The Forsyte Saga» (роман или серия романов Голсворти) в этом отношении стоит ста «Мистеров Клиссольдов» (Daily News)

«Мистер Уэлс не потерял ни в чем своего мастерства, но напрасно он назвал свою трилогию романом... Роман этот также велик и смел по задачам, как и по исполнению; это — книга, которая будет жить и поможет другим жить» (Spectator).

Как видите, последний рецензент назвал роман трилогией, но это больше, очевидно, из любезности, чем по существу. На самом деле «трилогия» состояла только из приема выпуска книги в свет: она вышла тремя отдельными книгами, но с последовательной нумерацией страниц, которых всего набралось 885.

Вообще в приемах выпуска романа замечалось некоторое желание поразить новизною, и, например, в первой книжке предисловие напечатано не после, а впереди заглавного листа. И оправдывается автор в этой новизне тем, что он пишет не «предисловие», а «протест», протест против того, что его могут отождествлять с героем романа, с Клиссольдом. Читатель, — как бы предостерегает автор романа: — сохрани вас Бог принять меня за Клиссольда. Но и тут можно употребить известное гамлетопское «мне кажется, что леди уж очень сильно протестует». Читатель, во всяком случае, не поверил автору и с полнейшим правом принял Клиссольда за самого Уэлса. Да и нельзя было не принять: во-первых, сам Уэлс говорит, что «естественно точка зрения Клиссольда похожа на Уэлсовскую», а во-вторых, мысли Клиссольда удивительно часто совпадают, даже по форме выражения, даже по тождественности фразы, с ранее высказанными мыслями Уэлса.

Бьет на новизну и если хотите, рекламность, мапера говорить в романе о живых лицах и дать им оценку. Тут и Рамсей Макдональд, и Клайнс, и король Георг V, и сэр Альфред Монд, и Ллойд Джордж, и Асквит и др. и приплетены они к роману при том еще ни к селу ни к городу, а очевидно для того лишь, чтобы вышло поумнее, побойчее.

Вкратце дело в следующем:

Вильям Клиссольд, достигший 60 л., т. е. возраста самого Уэлса, берется описывать свою жизнь и говорит о своем миро-

созерцании, выработавшемся исподволь, по мере жизненного опыта, а опыт у него был обширный в разных областях жизни.

Но тут я должен оговориться. Опыт жизни Клиссольда действительно мало чем похож на уэлсовский. И хотя в некоторых маленьких черточках, как, напр., насчет слушания курсов королевской коллегии наук, или в огромном материальном успехе в жизни благодаря собственным таланту и усилиям, в погоне за женщинами, и в некоторых других неважных особенностях — Клиссольд это Уэлс, но общий характер биографии Клиссольда и разные его похождения в отдельности ничем не напоминают автора романа. Зато мысли и думы Клиссольда и отчасти его брата Ричарда, это уже всецело мысли и думы Уэлса.

Вильям Клиссольд берется писать свою автобиографию. Но автобиография очень коротка, да и то, что рассказано о ней, расселено в разных местах отрывками, объединенными или, правильнее, разделенными очень длинными рассуждениями, которые, однако, и представляют самую интересную часть романа. Автобиография главным образом занята неудачной женитьбой и разными любовными фазисами, именно фазисами, а не приключениями, ибо каждая отдельная любовь была не только просто новой привязанностью, новым наслаждением и разочарованием, а новой полосой жизни, новым взглядом на мир, на людей, на женщину.

Но за исключением каких-нибудь может быть десятков двух страниц из всех 885, в которых виден подлинный Уэлс, эти описания разных любей и любовной психологии смертельно скучны, и точно из мертвых солончаков среди цветущей равнины, читатель старается поскорее выбраться из них на соседние зеленые пространства. А пространства эти обширны. О чем только не рассуждает Вильям Клиссольд! Это не роман, не автобиография, а энциклопедия. Тут и религия и коммунизм, и лига наций, и денежное обращение, и женский вопрос, и педагогика, и происхождение человека, и социализм, и тресты, и новые изобретения, и вопрос об образах правления, о парламенте, жизни на французской Риверье, о рабочих часах и т. д. И самым подходящим приложением к этому «роману» был бы предметный и именной указатель.

Все суждения Клиссольда, однако, сводятся к одной главной мысли, являющейся и основной в романе. Мысль та, что эволюция психологическая и экономическая ведет к всемирному экономическому объединению, к всемирным трестам, т. е. к такому состоянию человечества, в котором производство и распределение продуктов сделаются предметом всемирного хозяйствования. Это будет, так сказать, 4-й Интернационал, который и даст народам свободу и благосостояние, полным мерами. Но это будет достигнуто не пролетарскими революциями, не учением Карла

Маркса, о котором Клиссольд говорит с непревзойденным сарказмом, не тупостью «коммунистических вождей» — и даже не английской рабочей партией, (Уэлс и теперь состоит ее членом) а главарями великих промышленных и финансовых предприятий. Это они делают революцию, теперь бессознательно, по нужно, чтобы они ее делали сознательно. Для этого необходима безпрепятственная пропаганда, нужно поставить для этого на новую почву воспитание юношества, подготовить духовно людей для восприятия идей четвертого интернационала, который должен состоять не из рабочих, а из балкиров, фабрикантов, инженеров, ученых и т. п. Только этот интернационал спасет человечество от возврата к варварству и направит цивилизацию в новое, более широкое и более высокое русло.

«Я имею в виду — говорит Клиссольд, — не демократическую, а аристократическую революцию. Я не верю в демократические революции. Они годятся лишь как метлы или удобряющие наводнения. Я думаю что народная масса может, если подходящим образом подучена, опрокинуть что угодно, но не верю, чтобы она могла создать что-либо»... «Я не вижу, — пишет он в другом месте, — отчего это следует позволять неудачным педантам и неопытным юнцам монополизировать превосходное имя революционера, и отчего недовольные старшие рабочие и те неспособные люди, которые годны лишь для учинения поджогов, должны вообразить себя единственными носителями человеческих надежд».

Революция, о которой мечтает Клиссольд, приведет к мировой республике, которую, однако, не следует себе представлять в виде какого-то современного государственного устройства. Все те учреждения и должности, которые характеризуют современное государство, совершенно отпадут за ненадобностью, за полной их обветшалостью. Мировая республика не будет нуждаться ни в президентах, ни в народных собраниях, палатах, конгрессах и пр. «Мировое Правительство — которого мы желаем — говорит Клиссольд, — будет прежде всего социальным и экономическим. Оно будет не с зубами и когтями, а с руками. Оно не будет развитием нынешних Правительств, а вырастет в другом направлении».

Это будет организация не боевая, а торгово-промышленная.

Когда он говорит о тех способах достижения социализма, какие проповедают вообще социалисты в Англии или за границей и о тех формах социалистического государства, какие они рисуют себе, тон его суждений делается горьким, ядовитым, ироническим; особенно смешной и забавной ему кажется программа общества фабианцев, вырабатываемая «чиновниками», как Сидней Веб. Социалисты, — говорит Клиссольд — Уэлс — предлагали «национализировать» средства производства и рас-

пределения, но когда кто-нибудь спрашивал, кто или что представляет собою эта «нация», которая должна взять на себя операции, они ничего не могли ответить. Бывало получите только в ответ сердитый и интерпеливый жест, которым отмахиваются от неприятного вопроса. Социализм — вопрос экономический, а не политический, а это ведь все объясняет. Кажется невероятным, но они повидимому верили, что экономическая справедливость и административная толковость совместимы с какой-бы то ни было политической гнилью, раздробленностью и абсурдностью. Ничего, не беспокойтесь! мудреные чиновнички справятся со всеми недостатками! Как видите, как марксистский социализм выдуман недовольными профессорами — Фабианский социализм явился главным образом продуктом полных надежд чиновников... Фабианцы лучше марксистов лишь тем, что душа их светлее...

С большим сожалением должен отказаться по недостатку места от дальнейших выписок как бы интересны они ни были. Нужно надеяться, что если не весь роман, то множество отдельных глав из него будет вскоре переведено на русский язык, так как сколь бы спорны ни были некоторые отдельные положения Клиссольда — Уэлса, но им нельзя отказать в свежести и откровенности, т. е. именно в том, в чем так нуждается современный читатель, особенно русский, затуманенный и сбитый с толку старыми, обветшалыми терминами и верованиями.

Роман кончается случайной смертью Клиссольда: в то время как он решил отдать последние годы жизни пропаганде «Мировой республики», он где-то на Риверье был убит вместе с любимой женщиной, попав под автомобиль. Смерть эта, повидимому, имеет какой-то символический смысл, то-ли, что в жизни все случайно, то-ли, наоборот, что в жизни есть, как Клиссольд уверял, «основной и неумолимый закон», несмотря на случайность, т. е. что хотя Клиссольду не удалось начать свою пропаганду, она есть, она будет, она достигнет цели. Во всяком случае, автобиография Клиссольда заключается эпилогом написанным уже его братом Ричардом, который сообщает о случайной смерти героя романа. Об этой то смерти, к которой приходится относиться «с подобающим уважением», и иронизирует цитированный выше рецензент

С. И. Раппопорт.

Лондон.

ОБЗОР РУССКИХ ЖУРНАЛОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОРЫ («Звезда», Москва).

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. («Версты» № 2 - Париж).

«Звезда» — третий по значению и об'ему толстый российский журнал. До недавнего времени выходил он в виде двухмесячника, при чем постоянные смены редакционного состава мешали ему приобрести определенную литературную физиономию. В 1926 году редакция его менялась трижды. В начале руководили «Звездой» молодой критик Г. Горбачев и небезызвестный И. Ионов. Журналу пытались придать несколько «налостовский» дух: в его художественном отделе усиленно печатали произведения пролетарских писателей, а в критическом их авторов не менее усиленно хвалили. Горбачев в статьях об итогах «Двух лет литературной революции» (впоследствии вышло отдельным изданием с дополнениями), полемизируя с Троцким и Воронским, отрицая наличие пролетарского искусства, указывал в качестве примеров «революционных завоеваний на литературном фронте» роман А. Тверяка «Трактор», помещенный в «Звезде», на печатавшиеся там же рассказы М. Карпова и Я. Коробова. В довольно скучных критических статьях о Панфилове или других молодых поэтах и писателях собратья Горбачева многословно полемизировали друг с другом. В общем «Звезда» светила весьма тусклым светом. В журнале господствовали Вардинские настроения, т. е. презрение к попутчикам, требование «диктатуры» над литературой и стремление к своеобразному литературному «протекционизму» по отношению к пролетарским писателям. Однако, уже через полгода ушли из «Звезды» и Горбачев, и Тверяк, третий номер вышел без имен редакторов, а в последней книжке (шестой) за минувший год были напечатаны имена новой редакционной коллегии: П. Петровский, А. Зонин и другие, менее известные. С 1927 «Звезда» преобразовывается в ежемесячник, и об'явление о подписке обещает в ближайших номерах произведения «попутчиков»: новый роман Федина, рассказы Бабеля, по

весть Ю. Тынянова «Смерть Вазир. Мухтара» (о жизни и смерти Грибоедова) и др. Имена эти не случайны: уже последняя книжка 26 года являет собою значительное изменение в направлении и характере журнала. «Звезда» становится журналом по преимуществу литературно-художественным, отказавшимся от напостовской непримирости и приближающимся скорее к позициям «Нового Мира». Конечно, в редакционных статьях не обходится без выпадов против самого «соглашательского» в литературном смысле издания — против «Красной Нови» и ее редактора Воронского, обвиняемого в излишней любви к «попутчикам» и недооценке пролетарского молодняка. Но это не гневные атаки Вардина, не отравленные стрелы Лелевича, а весьма корректная полемика, скорее по обязанности, чем по убеждению. Во всяком случае, такое ощущение испытываешь от статьи редактора Зонина «К итогам литературно политических споров». Зонин сам был напостовцем, но ушел от Вардина и его сотоварищей после итогов литературной дискуссии 1925 года, завершившейся принятием от имени партии большевиков резолюции по вопросам литературной политики не в духе напостовцев. По его словам, «у Вардина никого кроме Лелевича и Горбачева нет». Позиция Зонина (и журнала) в сущности та же, что и партийной резолюции: средняя, по его словам, «между капитуланством и комчванством».

Капитуланством называет он полный отказ от создания новой пролетарской литературы: такова позиция Троцкого и Воронского, поскольку они провозглашают, что пролетарской литературы еще нет и неизвестно; когда она будет (*Троцкий* даже утверждает, что ее и вовсе не может быть в революционный период, измеримый десятилетиями). Комчванство же, наоборот, утверждает не только возможность, но и самое существование пролетарской литературы, восхваляет ее превыше меры, как замечательное художественное и идейное достижение и предлагает «гнуть в бараний рог» всех ее «конкурентов» из стана «буржуазии и попутчиков». Капитуланство примлет полностью старую культуру и предлагает усвоить и переработать ее. Комчванство и знать не желает искусства буржуазно-капиталистического и ведет отчаянную борьбу против «пережитков прошлого»: наше-де искусство и лучше и выше. Зонин предлагает «передвинуть спор с организационно политической борьбы на задачи художественного творчества», при чем в его примирительную программу входит, конечно, всемерная поддержка пролетературы. Из его компромиссных и эклетических формул вытекает одно ясное положение: нельзя считать имеющиеся в России произведения пролетарской литературы серьезными или крупными художественными достижениями, но надо поощрять пролетарскую литературу, потому что из нее наверное что-нибудь выйдет, особенно если ав-

торы перенесут центр своего внимания из области декларации идей в сторону работы над художественными материалом. Стремление быть «подлинным» большевиком, верным «заветам ленинизма» заставляет, однако, Зонина делать ряд оговорок и примечаний: всё они имеют одну цель — показать, что высказывания редактора «Звезды» находятся в полнейшем соответствии с духом и буквой последней партийной резолюции. Словом «Звезда», по образцу всех советских изданий, всячески доказывает свою политическую благонадежность и коммунистическую лояльность. Впрочем, для нее это не защитный цвет: критики и редактора «Звезды» не за страх, а за совесть стараются проводить марксистские приемы и методы в критике, и рассматривают творчество современных писателей с «социологической точки зрения». Поэтому *А. Войтоволский* в своем очерке о Леонове, признавая автора «Барсуков» «наиболее ярким и одаренным из современных писателей», все же упрекает его за то, что он «лишен социально-психологической приверженности к сегодняшнему дню».

Не мало достается в «Звезде» П. Романову. Правда, Зонин говорит не о самом писателе, а об олицетворяемом им направлении: «каленинковские «Мощи», романистика и есенищина (а не Романов и Есенин) питают уродливые стороны нашего быта». И *Груздев* в статье «Упрямая Кобыла» во всю разносит Романова, обвиняя его и в подражательности и в стилистической небрежности, а пуще всего в обывательщине: упрямая кобыла быта, которую пыталась впадать революция, «очень упряма, она бьет задом» — таковы заключительные строчки Груздевского очерка. Между прочим, Груздев утверждает, что «среди широких обывательских масс Романов сейчас главенствующий писатель. В библиотеках говорят, что только в самое последнее время его «перешиб» Каллиников. В библиотеках городских, обслуживающих широкую массу совслужащих и близких к ним социальных слоев, от любителей Романова нет отбоя. На Романова очередь, как на Шаляпина».

Художественный отдел «Звезды» тоже претерпел изменения. Еще недавно здесь печатался в качестве примера высоких достижений пролетлитературы скучный и плоский роман *Тверяка* «Трактор» с искусственными мужичками и добродетельными коммунистами. Теперь Зонин строго критикует это неудачное и тенденциозное произведение, и вместо Тверяков дает место очень интересному рассказу *Б. Каверина* «Ревизор».

Сумасшедший Чучугин бежал из больницы, попал в баню, где с ним происходят самые необыкновенные приключения и где все виденное и слышанное своеобразно преломляется в его

поврежденном мозгу. «Александр Феодорович», кричит кто то банщику, и тотчас же: «Керенский, опасливо подумал Чучугин, до чего довели все таки! На советскую службу пошел».

Угоревшего на полке Чучугина случайно одевают в одежду ревизора рабоче крестьянской инспекции Галаева, и вот он ревизор, вот его арестовывают за якобы совершенное им в бане преступление — ранение некоего Чучугина, вот берет его на поруки жена Галаева, не жившая с мужем десять лет, и после ряда несообразных положений, возвращается Чучугин-Галаев в свою больницу, и в ужасе на прежнем месте находит нового Чучугина, похожего на него самого как две капли воды. А может ничего и не было, спрашивает его двойник, и испуганный Чучугин вновь совершает побег, и опять он в бане, снова в облаке пара слышит разговоры о растрате и ревизии, и рассказ кончается теми же словами, какими и начался, стерта граница между действительностью и галлюцинацией, между жизнью и больным воображением, оправданы слова пушкинского эпиграфа: «не то, чтоб разумом моим я дорожил».

Главное достоинство рассказа в том, что он прекрасно *сделан*. Он построен на ряде ловких литературных приемов.

События и люди показаны в нем такими, какими видит или представляет себе их Чучугин. В «Ревизоре» мир дан в преломлении больного мозга. Но для автора это только прием: мутные стекла безумия останются кривым зеркалом действительности, отражающим ее в карикатурно юмористическом виде. Этот юмористический, и пожалуй сатирический элемент и составляет своеобразную прелесть рассказа, построенного именно во внешне анекдотической манере. Снова чувствуется столь распространенное в современной советской литературе влияние Гоголя. Если вспомнить, что в недавние годы Каверин был одним из писателей, усиленно подражавших Гофману, то не трудно определить, какими истоками, помимо «Носа», питается его ироническая фантастика: недаром конец рассказа дан в двусмысленно манере Гофмановского «двойника».

«Горячий цех» *Ольги Форш* очевидно отрывок из крупной вещи, посвященной описанию революционного движения 1905-7 гг. Быть может именно взволнованное политическое и социальное содержание эпохи придает увлекательность повествованию писательницы; читателем овладевает скорее материал, а не способ его обработки.

Интересны события, но несколько мертвы герои: иконописный подвижник революционер Десницкий, подымающий восстание для того, чтобы погибнуть, потемкинец Полищук, говорящий каким-то неестественным языком, как и все фигурирующие в рассказе солдаты. Условная «геронизация» действующих лиц, некоторый мелодраматизм всего тона и фабулы лишают «Горячий

цех» большой художественной ценности. Но все же это бесконечно лучше тех вымученных и безнадежно тенденциозных произведений, при помощи которых «Звезда» до самого недавнего времени пыталась убедить читателей в высоких достоинствах пролетарской литературы.

Основное идейное содержание второго номера евразийского журнала «*Версты*» заключено по преимуществу в двух статьях: «Без догмата» Л. П. Карсавина и «Трагедия интеллигенции» Е. Богданова.

Карсавин доказывает, что у нас никогда не было подлинной историософии, если не считать славянофилов. Кроме славянофильской, в русской литературе, по словам Карсавина, нельзя найти ни одной ценной историко-философской концепции. Русские западники мало имели за душой, а у историков в роде Ключевского нет историософской идейно развитой общей концепции. Поэтому, ни Ключевский, ни его ученик не могут «стать опорным пунктом для вновь пробуждающегося русского самосознания. Оно же, как и в эпоху славянофилов, все еще задает свои проблемы русским людям и русским историкам». Карсавин, таким образом, лишь ставит вопрос о необходимости в наше время построить схемы русской истории, определить основные линии ее развития, без чего невозможно понять революции и всего, совершающегося ныне в России.

Но за призывом профессора следует тотчас же ответ ученика: в своей блестяще и талантливо, с большой литературной силой написанной статье Е. Богданов пытается схематически изобразить если не всю русскую историю, то по крайней мере одну из существеннейших ее страниц — историю русской интеллигенции. Схема эта чрезвычайно проста: русская интеллигенция, по мнению Богданова, определяется двумя признаками — идейностью, как особым видом рационализма, и беспочвенностью. Только эти элементы связывают формальной связью поколения русских интеллигентов, из которых последующее всегда отрицает предшествовавшее, так что в истории русской интеллигенции автор видит не золотую нить преемственности, а ряд братоубийственных могил.

Из этого основного положения вытекает и все дальнейшее. Идеи русской интеллигенции беспочвенны, потому что она разошлась с линией русской культуры, той самой культуры, корни которой уходят в допетровскую эпоху. Петр расколол Россию на два общества, на два народа, и с 18 века интеллигенция, оторванная от быта, от народной религии и психологии, импортировала в Россию чужеземную, западную культуру, рост которой произо-

шел за счет умаления и даже гибели культуры национальной, истинно русской. В истории русской интеллигенции бывали глупо прекрасные по своему этическому захвату движения, как, напр., хождение в народ, давшее поразительные образцы мученичества и подвижничества, но после 70 гг. интеллигенция разлагается: ее вера проникает в народ, в революциях 1905 и 1917 гг. выступают народные массы. Революцией 1917 года «противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Интеллигенция, уничтоженная революцией, не может более возродиться». И у автора появляется даже парадокс: а что если сейчас именно остатки интеллигенции придут к исконным народным идеалам, от которых отвернулся развращенный западной заразой народ? И ему уже начинает казаться, что в церквях Советской России появились «былые народники, вчерашние эсеры». «Интеллигенция влилась в основное русло великой русской культуры, уже начавшей свое оцерковление с конца 19 века».

Соблазнительно было бы предположить, идя в русле автора и продолжая его мысль о неизбежной, чуть ли не роковой оторванности и беспочвенности интеллигенции, что ее нынешняя «церковность» (если таковая существует не только в теоретических схемах Е. Богданова) окажется уходом от' народа и совпадет с моментом его отказа от церковности или по крайней мере равнодушием к ней. Но Богданов считает, что только в православии можно встретить в наши дни «подлинно всенародное единение». Таким образом, интеллигенция теперь становится национальной и вместе с «Россией православной идет против России-Америки».

В журнальном обзоре невозможно отметить все противоречия и фактические неправильности статьи Е. Богданова. В угоду заранее данной логической схеме он совершенно произвольно обращается с историческим материалом, игнорируя или обходя ряды одних явлений или укладывая другие в искусственные построения. Не приходится говорить, что Богдановское определение интеллигенции исторически неверно и логически бессмысленно: нельзя же в самом деле определять крупное историческое явление, как бы к нему не относиться, такими признаками, как «идейность и беспочвенность». И почему идейность рационалистична, «особый вид рационализма, этически окрашенный». Мы прекрасно знаем что, наоборот, идейность русской интеллигенции была окрашена по преимуществу идеалистически, не взирая на те философские теории, которые она попеременно исповедовала в разные периоды своего развития. Типично для русской интеллигенции не то, что в 40-ые гг. она увлекалась Шеллингом, а в 60-ые Фейербахом, а то, что соединяет и славянофилов и шестидесятни-

ков и народовольцев: искание правильного пути личной и общественной жизни, глубокое преклонение перед духовными высшими ценностями, порою с основательным ущербом для ценностей материальных.

Богданов преклоняется перед народниками 70 г., рассматривая их как явление исключительного порядка в «западнической» линии русской интеллигенции. Но народники не исключение из ряда, а лишь одна из высших ступеней в его развитии, Александр Михайлов — дворник — прямой потомок Рылеева, Сергей Муравьев — предтеча Каляева, и теоретики «бродячих апостолов» эпохи хождения в народ-продолжатели Герценовской линии. Между прочим, Е. Богданов, противопоставляя ранних славянофилов западнической интеллигенции, утверждает, что в свои святцы русская интеллигенция даже не занесла и не могла занести Хомякова (потом идут и другие имена — Гоголь, Самарин, Ключевский, Тесков, Островский). Тут явное пренебрежение фактами. Ведь г. Богданову должно быть прекрасно известно влияние ранних славянофилов на западников и в частности на Герцена, а затем и на позднее народничество. Резкое противопоставление славянофильства народничеству попросту неправильно.

Но существо не в этих отдельных суждениях и оценках автора. Главная его ошибка — традиционное противопоставление двух культур: одну — де творили интеллигенты, дворяне и разпочинцы в равной мере беспочвенные, другую народ, одна была искусственной, рационалистической, чужеземной, импортной, другая подлинно национальной, почвенной, религиозной и русской. К сожалению автор не говорит, в чем проявилась эта другая, но интеллигентская линия культуры, и почему развитие «импортной» культуры совершалось за счет национальной. Г. Богданов приводит примеры высокого искусства северной иконописи в 16 веке, преувеличенно считая ее более значительной, нежели искусство западного Ренессанса. Это, пожалуй, единственное определенное его указание на *факты* своеобразного культурного достижения Московской Руси. Но в то же время Богданов подчеркивает и довольно оригинально доказывает, что ни Киевская ни Московская Русь не имели подлинно развитой собственной культуры. Он ведь и петровскую реформу объясняет тем, что Россия была лишена культуры мысли и изголодалась по ней. А если это так, если неизбежно было оживление русского духа общением с Западом, то нельзя говорить, что «школа и книга сделали орудием обезличения, опустошения народной души». И парадоксальные утверждения о пропасти между «интеллигентской» и «национальной» культурой не правильнее ли было бы заменить более объективным и соответствующим действительности утверждением о пропасти между «образованностью» и невежеством,

между попытками культуры и отсутствием ее. Богданов не в силах определить содержания этой якобы национальной культуры, идущей из допетровской Руси и противоположной интеллигентской, потому что такой культуры нет и не было. Тут одно понятие подменяется другим, и культурой обозначает Богданов очевидно те или иные стороны народного характера, те или иные уклоны психологии, при том меняющейся даже в своих наиболее устойчивых, религиозных формах.

Русская интеллигенция, начиная с Петра, была носительницей и творцом русской культуры. Поскольку в начале своего пути она была дворянской, она была социально оторванной от народных масс. Мнимая почвенность помещиков объяснялась тем, что они жили в непосредственной близости к селу. Последующая оторванность интеллигенции 19 века от народа была обычным отрывом развивающегося города от деревни. Но нельзя социального факта объяснять имманентным противоречием двух органических стихий, нельзя из того обстоятельства, что русскую культуру создала интеллигенция, отрицать эту культуру. С каждым десятилетием русская культура охватывала все более широкие социальные слои, вовлекала в свое строительство все более обширные круги народных масс. История русской интеллигенции являет собою поэтому историю ее развития из узкой социальной группы в широкую внеклассовую категорию, питаемую народными источниками. Трудовая интеллигенция, появившаяся в России в начале 20 века, была абсолютно почвенной и связанной с народом, с фабрикой в городе и с селом во всей России — и вся практическая работа земств, кооперативов, народного просвещения и народного самосознания были совершена благодаря усилиям и трудам именно этой демократической интеллигенции. Подобное же явление имело место в 60-ые гг., когда пришел разночинец. Поэтому так неправ Богданов, утверждающий, что интеллигенты никогда не занимались делом, что деловитость, профессия, и интеллигентность несовместимы, что «врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты».

То, что мы называем русской культурой, и есть дело русской интеллигенции — это дело Пушкина, Толстого, Тургенева, Достоевского, Блока, в литературе, Белинского, славянофилов, Герцена, Чернышевского, в публицистике, дело русских революционеров в политике. Какие другие ценности имеем мы в виду, или вернее имеет в виду Богданов, когда говорит о «другой линии культуры»? И разве не оказывается русским государственным делом вся политическая деятельность русской интеллигенции, разве не права была она, стремясь разрушить тот строй, который создавал и социальные и психологические препоны развитию нации как целого, разве не естественным, народным и национальным делом была борьба за освобождение России. Разве не пони-

мала русская интеллигенция, что пропасть между образованными классами общества и массами можно сделать не столь зияющей, лишь разрушив стену политических притеснений и систему власти, основанной на полном презрении народных нужд и стремлений? Тот факт, что в движение, начатое интеллигенцией или вернее ее прогрессивной и революционной частью, вовлечены были народные массы, что Россия пошла не за Победоносцевыми и даже не за Писемскими, о которых упоминает Богданов, доказывает историческую почвенность именно идей, проповедовавшихся личными представителями этой якобы беспочвенной интеллигенции.

Можно было бы продолжить весь ход этих рассуждений, но это было бы уже темой для целой статьи. Ограничимся только указанием, что и самой трагедии русской интеллигенции не понял Богданов. Трагедия подлинно существует, но только не является она ограниченной трагедией какой либо одной обособленной группы. То, что принимает Богданов за трагедию интеллигенции — трагедия всего народа, всей России. Мы расплачиваемся за грехи прошлого, за все, что определено было и нашим историческим развитием и нашим географическим положением: это от них зависели наше культурное одиночество, наша культурная замкнутость в далеком прошлом и ненормальный путь восприятия западной культуры, начиная с 18 века. И, наконец, условия нашей социально политической жизни создавали разрыв между властью и обществом, отделили народ от образованного класса и заставили искать разрешения основных вопросов нашего политического и культурного строительства на путях революции и кровавой борьбы. Трагедия России в том, что не получила она еще в 19 веке таких форм государственного бытия, которые позволили бы ей нормальное развитие, что она была насильственно стиснута в отжившие и обветшалые стены самодержавного режима, и что освобождение из них должно было произойти таким мучительным путем, в таких подчас ужасных формах и стоять таких усилий и жертв.

Но такая постановка вопроса, конечно, должна быть глубоко чужда Богданову: ведь он совершает не исторический анализ событий, а стремится расположить эти события в том произвольном порядке, который может оправдать и доказать теоретические построения своего кружка и своей секты — евразийства. Но в этой попытке постигает его жестокое наказание: он оказывается повинен именно в тех грехах рационализма, догматической «идейности» и беспочвенности, в которых он так несправедливо упрекает русскую интеллигенцию.

ТРЕТЬЯ ФАБРИКА

(В. ШКЛОВСКИЙ. *Третья фабрика*. Ленинград, 1927)

Всякая новая книга В. Шкловского является неожиданностью. По названию бывает даже трудно угадать, является ли данное произведение мемуарами, научной работой или тем неопределимым беллетристическим жанром, к которому столь охотно прибегает в последнее время В. Шкловский. Такие названия, как «Ход коня», Сентиментальное путешествие», «Третья Элоиза» или, наконец, «Третья Фабрика» несколько не определяют характера скрывающегося за ними содержания; все они привлекают, особенно культурного, интеллигентского читателя, какой-то традиционной связанностью с прошлым и, одновременно, обещанием новизны, без которой не может обойтись такой парадоксальный и бунтарский характер, как В. Шкловский.

Следующая, непрерывная неожиданность проистекает из самого метода работы писателя. В. Шкловский стоил за динамичность. Сюжет должен быть разсыпан, раздроблен, представлен со всех точек зрения, но в результате он должен быть снова собран воедино и представлять сложную, но единообразную картину. Нужно признаться, что первое ему удастся часто гораздо лучше, чем второе, так что при окончании книги не знаешь, почему она должна была остановиться именно здесь, почему не прибавлено еще десять, двадцать остроумных картинок — анекдотов, не брошено еще несколько афоризмов. Однако, этот метод позволяет автору, с одной стороны, захватывать чрезвычайно широкое поле зрения, с другой, делать многочисленные отступления и вставки. Для Шкловского, при характере его дарования, это чрезвычайно важно, так как несмотря на всю свою динамичность он чрезвычайно эксцентричен. Все, что было когда-либо им написано, взято им не из внешнего мира, а из самого себя; он как будто бы тянет из себя одну вечную нить, в которую запутывает, затягивает окружающий мир. Этой же эксцентричностью объясняется то, что в научной работе, в которую он сделал, без сомнения, большой вклад введением формального метода, он не продвинулся далеко вперед от исходного пункта. В то время как иные его

сверстники, приняв от него принципы формального метода, построили на них новые плодотворные заключения, сам Шкловский остановился на довольно косном и мертвенном разложении произведения, разложении, которое кое-что показывает, но ничего не объясняет. Однако тот же эксцентризм в художественных произведениях способствует введению прекрасной лирики, захватывающей широкий общечеловеческий диапазон.

Все эти качества в широкой мере находятся и в последней книжке В. Шкловского «Третья Фабрика». Обратимся прежде всего к разгадыванию названия: формально третьей фабрикой называется та кино-фабрика, где работает писатель, но по существу это жизнь, которая обрабатывает Бог вещь во что человека: первая фабрика была семья и школа, вторая университет и Опыаз, а третья то, что мелет теперь. На эти три соответствующие отделы, внутренне, однако, сильно переплетающиеся, и разделена книжка. Сюжетный замысел, если вообще таковой имелся, раздроблен на мельчайшие главки — рассказы, перемежающиеся с научными изысканиями и чуть ли не с личными письмами, адресованными действительно существующим людям (Эйхенбаум, Якубинский, Якобсон, Тынянов). Литературизация, проходящих перед нашими глазами явлений и живых людей, вообще очень интересное явление. Прежде всего ее необходимо строго отграничить от портретизации, т. е. от факта, когда писатель прототипом своего героя берет живого человека (Чаадаев-Чацкий, Бакунин-Рудин, Тургенев — старик Верховенский и т. д.); обычно такая портретизация спорна и не представляет значения для литературной оценки, так как писатель при создании типа приносит целый ряд иных, собранных им ранее черт. Иное дело вставка фактов и лиц под их настоящими именами. Многие обвиняют за это необработанное перенесение жизни в литературу Ремизова, но необходимо отметить, что в действительности это далеко не новый прием, стоит просмотреть внимательно, хотя бы того же Евгения Онегина, чтобы убедиться, насколько широко Пушкин пользовался этим приемом. Разница лишь в том, что мы, благодаря расстоянию, принимаем все, написанное Пушкиным в порядке литературы, в то время как написанное Шкловским, благодаря знакомству с излагаемым им сюжетом, воспринимается нами в личном порядке. Отмечу еще одно, а именно то, что умелое ограничение, вырезание действительной жизни уже является художественным творчеством. Так из тысяч метров снимков при помощи вырезания и склейки создается цельный фильм.

Кроме вставок личного и лирического характера имеются иные научного (за неимением возможности издать отдельную научную работу) и чисто беллетристического характера, как например «Бухта зависти». Последний прием напоминает немного старинные романы с бесконечными отступлениями и вставками, недаром видно Шкловский изучал Сервантеса и Стерна.

Но мы пока все время говорим о вставных частях, и читатель мо-

жет подумать, что только из них и состоит вся «Третья Фабрика». Эта точка зрения не была бы вполне верной, так как общий и при том весьма характерный фон существует — это современная российская жизнь со всеми ее тревонениями, безконечной верлицей неудобств и горестей, со смешением старого и нового. Особенно интересно последнее в деревне, куда попал автор на аэроплане и где как на самой дешевой силе, работают на людях.

В общем, впечатление от описываемой жизни, остается как от чего-то тяжелого, непроницаемого — «Я живу плохо, живу тускло». Вот эта тусклость, невозможность пробиться на свежий воздух и примесь огромной нежности ко всему живому и действует всего трагичнее.

Помимо внутренних качеств, в «Третьей Фабрике» есть и чисто внешние большие достижения. Внутренняя усталость уровню вешивается искристым блестящим стилем, полным парадоксов и ядовитых замечаний, богатым и твердым языком. Несмотря на скачки и всяческую новизну, стиль и язык Шкловского очень уверенно, крепко построены и имеют непосредственную традицию.

Н. Мельникова-Папоушкова.

Отзывы о книгах

П. РОМАНОВ. Заколдованные деревни. Москва 1927 г.

Пантелеймон Романов пользуется сейчас большим успехом в России. Причины этого ясны: Романов бытописатель современной действительности в легком юмористическом стиле, не требующем слишком глубокого раздумья, не волнующем, чересчур сложным чувствами. Порою эти описания сочетаются с некоторыми попытками психологического рисунка: таковы рассказы о любви и весьма популярный в России сборник «Вопросы пола». Но чаще всего мелкие рассказы Романо-ва — моментальные снимки, в лучшем случае, раскрашенная фотогография. Поклонники Романо-ва

сравнивают писателя с Чеховым. Конечно, Романов идет в чеховском русле, но нет у него ни чеховской сосредоточенности, ни чеховской отчетливой сжатости. Он несколько многословен, особенно в диалоге, и часто впадает скорее в горбуновский, чем в чеховский тон.

«Заколдованные деревни» — рассказы из эпохи революции и гражданской войны. В них много наблюдательности и юмора, а в качестве материалов эпохи они представляют неоспоримую ценность. По большей части описывают они всяческие нелепости русской жизни. Порою записи эти носят поистине характер стенографической точности, и не зна-

есть — художественные ли произведение перед тобой или же добросовестная газетная корреспонденция талантливого обозревателя жизни деревни и провинции.

Вот напр., рассказ «Государственная собственность». По дороге разговорились мужики разных волостей. В одной волости мужики сохранили барский дом, начальство из дома сделало богадельню, нагнало в дом старух приходится теперь мужикам по мере картофеля на старух жертвовать. Соседи из другой волости укоряют их: маху дали, надо было все ломать, и похваляются своими подвигами. «В нанесенных сугробах торчали обгоревшие столбы.

— Это наше, мы работали. Вон посередке, где кирпич навален, тут дом был огромный!.. Потом приезжали из центра, как, говорят, вам не совестно мы бы, говорят, вам тут народный дом могли устроить, лекции читать, али, говорят, мастерские.

— А вы что же?

— Они устроят, а потом с тебя меру картох...

— Это — первое дело. А вон в низочке столбы торчат, — это паровая мельница была. А поближе сюда сад был десяти пять.

— Скажи на милость, обзаведение какое было...

— Страсть, больше ста лет стояло, все обстраивались

— Долго ломали?

— Больше трех недель.

— Да, скорей не справишься, сказал мужичок в платочке.

— Вон, вон опять наши места пошли! закричал высокий мужик,

указывая кнутовищем куда то налево. — Тут молочная прежде была, в Москву молоко отправляли, там — завод стеклянный был.

— Ничего что-то не видать, — сказал мужик в платочке, повернувшись всем туловищем в сани.

— Как нету ничего, так и не увидишь ничего, — сказал высокий.

— Богатое обзаведение было!

— Страсть.

— А завод большой был?

— Пять недель ломали».

В такой же разговорной форме построены и остальные рассказы Романова. Их, вероятно, не мало читают со сцены на разных вечерах и театральных дивертисментах для развлечения городской публики. Их не без смеха перелистывает читатель: легкая литература.

Но все же есть в творчестве Романова — бытописателя и одно серьезное свойство, весьма типичное вообще для молодой нашей литературы. Он, как и огромное большинство писателей Советской России, особенно коммунистов, обладает резко выраженным критическим и даже сатирическим тоном подхода к действительности. Обличительные устремления русской литературы нашли в нем достойного продолжателя. Автор «Руси — эпопеи предреволюционных описывает Россию мертвых душ, нелепых комначальников и мещан от большевизма. Обличение мещанства и нелепости, невежества и чванства, человеческой мелкоты и пышнословия — вот основная тема произведений Романова, хотя бы и облеченных в

форму веселых анекдотов. В этом их социальное и художественное содержание, в этом и истинный символический смысл этих на первый взгляд невинных и незатейливо написанных «картинок действительности».

М. С.

Ю. ТЫНЯНОВ. Кюхля. Повесть о декабристе. (Изд. «Кубуч» Ленинград 1925).

Есть один литературный жанр, о котором нельзя никогда сказать о точности, умирает ли он или возрождается. Я имею в виду исторический роман. По существу это наиболее старый литературный жанр, так как в сущности ничем иным не была и эпопея, да и сам роман выступил на сцену именно под этой формой. Приблизительно вот уже пол столетия после великолепных достижений, как в западно-европейских, так и в русской литературах, он начал казаться нам слегка искусственным и менее привлекать внимание. Однако, несмотря на это, среди писателей не перестают появляться люди, желающие омолодить его. Наиболее современной, но по всей вероятности не последней, формой исторического романа является биографический роман. Разница жизненных условий не мешала этому течению проявить себя почти с одинаковой силой во Франции и в России. В Париже сейчас существует два издательства, которые систематически печатают серии беллетристически обработанных жизнеописаний великих людей: писателей, художников, музыкантов, полководцев и т. д. В России дело не так систе-

матизировано, но с одной стороны, желание читателя хотя бы в книге или в театре отойти от современности, а с другой, стремление распространять произведения, высмеивающие прошлое, вызвали к жизни целый ряд разноценных исторических произведений. Все-му этому за последние два года способствовал еще юбилей «декабрьского» восстания, который был опразднован в официальных и не официальных кругах. К сожалению, именно эта литература не оказалась на должной высоте, как перед войной не соответствовала объему темы и художественная литература о «1812 г.» и как вообще мало когда бывают достойны юбиляра те романы, повести и драмы, что пишутся о нем в приуроченный момент.

Изю всей массы беллетристики о декабристах и их эпохе, вышедшей из России, приятное исключение составляет «Кюхля» Ю. Тынянова.

Главное очарование «Кюхли» происходит из самой темы. Есть имена и факты, к которым нельзя прикасаться без содрогания и душевного волнения; таковыми именно являются лица и события описанные Тыняновым. Далее повесть, если таковой вообще можно назвать «Кюхлю», сделана чрезвычайно тонко: автор никогда не переходит в интимничество со своими героями, не умаляет великого прошлого до личных симпатий и антипатий, не пытается оскорблять ни одного из действующих лиц, как это делал раньше, Д. Мережковский, а сейчас многие и вслед за ним; мы чувствуем постоянно необходи-

мую художественную перспективу, отход, при котором можно обозреть всю картину.

Эта черта тесно связана с самим методом построения. Тынянов черпает свою объективность из исторического подхода и разработки. Эпоха декабристов и личность Кюхельбеккера ему очень хорошо знакомы, и потому он так умело выбирает основное. Он увлекательно рассказывает, но чтобы не быть голословным, не впасть в фантазирование, он вносит подлинные дневники и документы. В первой, более слабой части, где описывается детство и лицей Тынянов как-то слишком напоминает Авефариуса с его детскими книжками «Детство и юность А. С. Пушкина». Но чем дальше идет повествование, тем рельефнее выступает он и в повести. Слово «крепнет» мало подходит к сентиментальному и слабому Кюхельбеккеру, но иного я не знаю для обозначения судьбы человека, отдавшего всего себя делу и людям, а взамен

получившего лишь страдания. Вот эта преданность и полная неудача во всех личных предприятиях, какая-то рассеянность в самые решающие моменты жизни и дает почувствовать Тынянов при помощи действительных материалов, покрытых легким, так сказать, акварельным налетом творчества. В такой же манере, как и главное действующее лицо, даны общество, среда и эпоха.

Конечно, повесть «Кюхля» не гениальна, но даже безотносительно ко всем слабостям современного исторического рода, она стоит на высоком культурном и художественном уровне, благодаря чему она не только легко и приятно читается, но и оставляет длительное впечатление.

Историко - архивный характер этой книги увеличивается еще от приложенных иллюстраций — каррикатур, сделанных современником и однокашником Кюхельбеккера Илличевским.

Н. Мельникова-Попоушкова.



РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

J. POVOLOZKY & C^{IE} 13, RUE BONAPARTE PARIS VI^e

ВСѢ РУССКІЯ И ФРАНЦУЗСКІЯ КНИГИ

ОТКРЫТО БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА СЪ 9 У. ДО 7 ВЕЧ.

Tél.: Fleurus 42-04

R. C. Seine 212-183 B.

Chèques postaux -- Paris 195-33

Фирма основана в 1910 г.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

журнала

„ВОЛЯ РОССИИ“

Для ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ
и ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Собственные издания на Русском и Французском языках. Все зарубежные издания. Все Книги Советской России. Детские книги. Учебники. Словари и самоучители иностранных языков. Ежемесячные бюллетени всех французских изданий. Каталоги высылаются бесплатно.

— А Н Т И К В А Р И А Т —

ВСЕ КНИГИ ПО ИСКУССТВУ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

J. POVOLOZKY & C^{IE}

EDITEURS

13, rue Bonaparte, PARIS (VI^e)

Издан. Акц. Общ. Печат. Дела «САЛАМАНДРА»

Latvija Rīga L. Kalēju iela 43.

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

„ПЕРЕЗВОНЫ“

выходит 1 раз в месяц

СОТРУДНИКИ: М. А. Алданов, Мих. Арцыбашев, К. Д. Бальмонт, Н. Г. Бережанский, проф. Бердяев, И. А. Бунин, Н. Н. Белоцветов, Ю. Галич, Г. Гребенщиков, О. Далматова, А. Даманская, Дон-Аминадо, Бор. Зайцев, (ред. литер. отдела), Евг. А. Зноско-Боровский, А. И. Куприн, Вл. Лодыженский, Ив. Лукаш, Д. С. Мережковский, С. Р. Минцлов, проф. Н. И. Мишеев, Мх. Осоргин, А. М. Ремизов, Н. Рошин, Н. А. Тэффи, Л. Столица, И. Сургучев, В. Ф. Ходасевич, А. Черный, Евг. Н. Чириков, Марина Цветаева, И. Шмелев, Сем. Юшкевич, А. Өдорев, Худ. акад. Н. П. Богданов-Бельский, акад. С. А. Виноградов, А. М. Прандэ (ред. худ. части), Ю. Г. Рыковский и друг.

В каждом ном. 4 цветных репродукции, много иллюстр. в тексте.

Обложка раб. М. Добужинского.

Цена ном., начиная с № 14 — в Латвии 50 руб., за границей 25 ам. цент.

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ

Еженедельный иллюстрированный журнал

„НОВАЯ НЕДЕЛЯ“

Богатые иллюстрации всесторонне освещают европейскую жизнь.

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Кино. Театр. Спорт. Моды

Отдел шуток, задач и шарад.

Обо всем.

Цена: в Латвии — 30 сант., (15 р.), в Литве — 75 лит. центов, за границей — 7 ам. цент.

Адрес редакции и конторы: Латвия, Рига, Б. Кузнечная 43, «Саламандра». Тел. 23011.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

„ВОЛЬНАЯ СИБИРЬ“

(Изд. Об-ва Сибиряков)

Сборник статей, посвященных памяти Г. Н. ПОТАНИНА.

СОДЕРЖАНИЕ:

От редакции. — И. Я. Якушев: Г. Н. Потанин, его общественные и политические взгляды. — Проф. Е. Л. Зубашев: Воспоминания о Г. П. Потанине. — Дионео: Научные работы Г. Н. Потанина. — Гр. Гребенщиков: На склоне лет его. — Инж. А. Мягков: Золотопромышленность в Сибири. — Д-р Ф. Гавелка: Северо - Восточный морской путь к бассейну Обь - Иртыша. — Из печати и жизни Я. Лозового: К вопросу колонизации Сибири. — Сибирское обозрение: Общесибирский съезд писателей. — Некролог: П. И. Макушин — Заграничная хроника Библиография. Цена 25 чешк. крон.

Адрес: Praha-Strasnice, Gregorova ul. 153. J. A. Jakusev